

Один на льдине

Автор:

[Михаил Веллер](#)

Один на льдине

Михаил Иосифович Веллер

В новую книгу Михаила Веллера входит как издававшийся ранее «русский Мартин Иден» – роман о советском писателе «Мое дело», ставший внутрилитературным бестселлером, так и впервые публикующиеся произведения. Повесть «Смотрите, кто ушел» рассказывает о громкой славе первого советского «шестидесятника», кумира того поколения Анатолия Гладилина. Уникальный обзор мировой литературы – чем отличается написание шедевра от успеха и признания писателя – завершает сборник.

Михаил Веллер

Один на льдине

Мое дело

Глава первая

До того как

1.

Полгода отец был на усовершенствовании в военной академии в Москве. Мать поехала с ним и устроилась там на временную работу. Перед новым назначением в дальний гарнизон они наслаждались столичной жизнью. Меня закинули к бабушке-дедушке на Украину, мамину родину.

О Каменец-Подольске написал Владимир Беляев известный когда-то роман «Старая крепость». Крепость была турецкая. Это все знали и никто не задумывался. Веками здесь правили турки, в екатерининские времена их выбили русские, но осознавалась непрерывная исконность своей земли.

А над береговой кручей город, а в городе парк, а в центре парка на постаменте – «Т-34». Мы победили.

Меня привезли из Забайкалья. Я был хил и прозрачен. Офицерский паек был сытен, но витаминов не включал. Мне было четыре года. Бабушка ужаснулась.

Дед был непрост. Дед был прям, сдержан и ироничен. Он походил на обедневшего шляхтича с раненой гордостью. К нему ходили советоваться. Светлые глаза деда щурились, светлые волосы разлетались под сквозняком из форточки. На Подоле намешано много кровей, и гремучие коктейли непредсказуемы.

Бабушка происходила из приличной дореволюционной семьи с одесским уклоном в негоциацию. Юный студент-социалист пленил ее образованностью и высокими идеями. Она гордилась репутацией мужа и видела в дочери и внуке продолжение его мудрости.

Бабушка откармливала меня курочками в масле и бесконечно причитала, восторгаясь моей гениальностью по любому поводу. Все, что я мог сказать, придумать или сделать, вплоть до попроситься на горшок, было гениально. Меня демонстрировали гостям, разрываясь от счастья:

– О-о, гениальный ребенок!

Их не расстреляли, не повесили, не загнали в газовую камеру. Деда так и не разбомбили в его санитарном поезде, и после ранений он не стал калекой. Бабка с мамой сумели уйти из уже оккупированного города: сплошной линии фронта в конце июня 41-го почти нигде не было; и не сгнули в пересылках эвакуации. И после войны нашли друг друга, и получили комнату в бараке при водолечебнице, и мама поступила в институт, и в обезмужившей стране вышла замуж за офицера, и родила сына.

- О-о, гениальный ребенок!

Лишь раз при мне, перебирая старые фотографии, мама смотрела на старый снимок их девятого класса, и я помню ее девчоночью гаснущую интонацию: «И все наши мальчишки ушли на фронт. И ни один не вернулся!..»

Конечно, умненький четырехлетний мальчик с подвешенным от природы язычком никаких философских выводов экзистенциального характера не строит. Он просто наслаждается ценностью своей личности в глазах окружающих и, таким образом, в глазах собственных сильно поднимается также. Утверждается в значимости любых своих слов и поступков. Самоуважение и самоуверенность ложатся фундаментом, быстро и прочно опускаясь из стремительного детского сознания в пожизненное подсознание.

Гости дружно восторгались. Я цвел и распускался, стараясь оправдать ожидания и похвалы. Я изрекал суждения по любым предметам. Самодовольный развитый мальчик напрягал мозги и язык, отрабатывая предложенную ему приятную социальную роль.

Думать и говорить постепенно делалось наслаждением. Боже мой, какое это счастье и везение: хлебнуть неограниченного аванса в начале пути. Захваливайте детей, поощряйте их, восхищайтесь ими! – свинцовых мерзостей несправедливой жизни они хлебнут и без вас. Ах, как я старался.

- О-о, гениальный ребенок!

Через полгода бабушкиной любви родители не узнали малолетнего гения. Не потому, что раньше я был идиот с тяжелым диагнозом и беспросветным будущим. А потому, что ежедневная курочка с маслицем из рук любящей бабушки переводит рахитика в весовую категорию начинающего борца сумо.

Я перестал быть прозрачен, а наоборот, теперь заслонял изрядную часть пейзажа. Чулочки у меня были протерты на ляжечках изнутри, потому что при ходьбе ляжечки терлись друг о друга. Над животиками у меня были грудки, а над грудками щечки. Бабушка умиленно и наставительно повертела меня напоказ.

Отец присвистнул. Мать покраснела.

- Мама! - изумленно и укоризненно сказала она бабушке.

- О-о, гениальный ребенок! - запела бабушка и закатила глаза.

Никто никогда не узнал, как дорого обошлась мне одесская диета.

Мать была очень красива. И очень самолюбива. Она обожала гулять со мной за ручку. Я был потрясающий ребенок. Тоненький, с огромными эмалевыми глазами и золотыми вьющимися кудрями. Маленький лорд Фаунтлерой. Теперь я стал симпатичный белявый поросенок с глазками и складками, передвигавшийся вперевалку. При ней я выглядел смешно и оскорбительно, ее произведением нельзя было восхищаться.

Отец мечтал о маленьком мужчине. Четырехлетний возраст делал непонятным армейский способ сгонки веса и коррекции фигуры.

При этом я был говорлив, как соловей, и самовлюблен, как Нарцисс. В сущности, я был самодостаточен - при условии материального обеспечения и наличии слушателей.

Вот в такой своей сущности я и был сдан в нормальный гарнизонный детский сад посереде манчжурских степей.

В первую же минуту я был дразнен как «жиртрест» и «саломясокомбинат». Мне еще не было обидно – я еще не въехал. Через пять минут я получил первого пенделя. После завтрака меня впервые побил самый, как сказали бы сейчас, агрессивный член моей средней группы. Бил он не зло и не больно, а как бы для порядка – для сохранения социальной структуры: поддержать свой имидж драчуна и указать новенькому жиртресту его место парии. Добрые девочки сочувствовали мне, а более активные от природы мальчишки развлекались зрелищем.

Но я рос в офицерской семье! Жаловаться было нельзя! А давать сдачи было обязательно!

Насчет сдачи я собрался с духом дня через два. И не дал. Он был ловчее и быстрее. Пончикообразность лишила меня всякой подвижности.

Потом он разбил как-то мне нос, а это такой удар, от которого можно заплакать невольно, тут воспитательница перед обедом заинтересовалась моим видом, я не наябедничал, поскольку это невозможно, и травить меня вскоре перестали, и даже последним номером я быть перестал, нашлись мальчишки слабее и забитее меня, – но все-таки место мое было не в «лидирующей группе», а ближе к тому краю, где параша и дверь. И любой мог дать мне пенделя и крикнуть «жиртрест» – и безнаказанно убежать, если слабый, потому что догнать я не мог никого.

И в играх, требующих подвижности, проходил последним номером. А в футбол вообще не годился.

И ни одна с-сука мной не восхищалась! Это – жизнь?!

Ох я думал. Ох я и думал. Я думал обо всем. О справедливости. О мести и милосердии. О том, как устраиваться в этой жизни, если провозглашенные правила не соблюдаются, а неписанные правила против тебя. О том, что почему же я не такой сильный, стройный и храбрый, как некоторые. Любимым и главным людям, маме с папой – пожаловаться невозможно: вот черт его знает почему, невозможно и все. Поговорить о жизни не с кем. От завтрашнего дня ждать ничего хорошего не приходится.

Я думал постоянно. Я думал, когда меня вели утром за руку в детский сад и вечером домой. Думал на прогулках, засунувшись куда-нибудь в щель за сарай. На мертвом часе, глядя в потолок. Воспитательницы были довольны. Они говорили родителям, что я очень спокойный и послушный ребенок и со мной никаких хлопот.

Во мне поселился комплекс неполноценности – он аж не помещался во мне, как корни баобаба. Я спокойно и обреченно знал, что я жиртрест, слабый, трусливый, неуклюжий, непривлекательный, вялый. Я возненавидел свое имя и стеснялся его – была на него дразнилка: «Михаил – коров доил / титька оборвалась / он хотел ее пришить / мамка заругалась».

Попасть в социальные аутсайдеры бывает полезно. Вот с тех пор я уже никогда не переставал думать. О человеческих отношениях, о справедливости, о достижимости счастья и его сути, и вообще об устройстве жизни. Вот так полвека спустя и понял, как благотворность страдания сказывается в напряженном постижении мира: дабы найти смысл в происходящем и отыскать разгадку отсюда и к желанному состоянию.

3.

Я всё помнил. Я жил внутри себя. Я повторял родителям сказанное мельком месяц назад соседями по ДОСу («Дом Офицерского Состав»), и они переглядывались.

Гарнизонная жизнь в степи развлекает мало. Счастье выжить в войне и благоденствовать с семьей – не то что приедается: утрясается и не возбуждает душевных сил.

В маминой семье читали. Дедушка был местным остроумцем и книголюбом. Любимым предметом была литература. Мама читала сама и читала на ночь мне. Ее «круглый» аттестат я увидел потом, а медалей за школу в войну не давали.

Днями я ждал вечера и сходил с ума от любопытства. «Сто тысяч почему», «Какие бывают вещи», «Откуда стол пришел». Такие книжки нравились мне

гораздо больше сказок. А стихи я просил прочитать еще раз. Родители не понимали, зачем. А я их запоминал. Я не знаю, зачем. А так. Для интереса. Что-то в этом было.

Потом, днями, я их повторял себе шепотом. Это давало ощущение причастности к чему-то значительному; правильному, весомому, достойному, взрослому. Я их проживал. Я в них проживал то, чего оказался лишен нормальным образом в играх с равными сверстниками. Я в них втекал, вжигался, вкладывался. Сейчас я мог бы сформулировать, что на всю жизнь впечатывал свой внутренний мир в эти матрицы.

Меня никогда не ставили на стул читать гостям. Я замыкался, мычал, убегал, орал: не хотелось. Открывать чужим свое – невозможно: это не развлечение.

Отец сколотил в полковой мастерской стеллаж. Эта некрашенная лестница высилась до потолка. Книги привозились из командировок, продавщице «Культмага» дарились подарки.

Комната метров десять, печку топить два раза в день, казенные кэчевские («Коммунально-эксплуатационная часть») железные койки и фанерный шкаф, на общей кухне дровяная плита и трофейные немецкие керосинки офицеров, матерчатый абажур с толкучки и игрушки в ящичке из-под посылки. И это очень уютно и очень благоустроено: мы со славой победили в великой войне, мы лучшие в мире, и нет никаких забот. Это семья, это любовь, это мир и все в нем есть.

И в этом мире, увлекшись и проникшись, мама учила со мной стихи: настоящие и лучшие стихи для ребенка повзрослей своего возраста. Я запоминал строфу с одного раза и уже никогда не забывал с двух. Все эти «Баллады о голубях» и «Почты военные» я слышу в себе всю жизнь, если потрясти на дне головы. «Книги покрыла столетняя пыль, /червь переплеты их ест. / Лучше послушайте новую быль: / сказку про новый Удрест».

Сама мама читала Ронсара, а в моем слухе чеканом по бронзе вызванивал узор мальчишеский романтизм.

4. Первое публичное выступление

Однако в детском саду нам тоже иногда – и вполне регулярно – воспитательница читала книжки. Это были нормальные детские книжки, вызывавшие у меня нормальное высокомерие и презрительное отношение своей, э-э, низкопробной общедоступностью.

И тут стал близиться некий очередной праздник. И к нему задумали устроить концерт для родителей. Участвуют все! – более или менее.

Для танцев у меня не было грации... Для пения – слуха. Для роли зайца или морковки я был слишком умен и одновременно застенчив и зажат. Зато я умел замечательно читать наизусть выданное воспитательницей на «чаше чтения» стихотворение про цаплю, которая сует «чапу-лапу прямо в воду». Я презирал его за детскость и примитивность, и оттого все свое умение вкладывал в актерский обыгрыш текста.

На генеральной репетиции воспитательский коллектив был просто в восторге. Ну просто руками всплескивал. Ну я прямо пел эти стихи и был цаплей, камышом и лягушкой одновременно. Я был горд и счастлив. Мне жутко хотелось тоже участвовать в концерте. А тут – я был один из солистов!

Ну что. Настал день гнева, пришел момент истины. Родители сидели рядами на наших стульчиках, как на горшочках, только офицеры на нормальных в заднем ряду, и мой отец тоже.

Кулисы были из простынь. Меня слегка протолкнули меж них, и я вышел, и все это увидел. Их всех было много, очень много, они были чужие, какие-то очень мощные, вся эта многочисленная мощная чужая масса была внимательно нацелена на меня – это парализовало, это было страшно и непереносимо.

Они захлопали, и я стал терять сознание. Воспитательница решила меня поддержать, подсказать, я заплакал, попятился, заорал от страха и был уведен с жалостью и позором. За простыней зал шумел и смеялся. По другую сторону этого савана, исконно отделяющего художника от публики, трясся и всхлипывал я.

Позор был полный. За занавесом взревел баян и зазвенели детские голоса. Дома я продемонстрировал родителям номер во всем блеске своего умения. Я был нервный ребенок. Публика меня шокировала. Я ощущал свою ей чужеродность, но жажду успеха понял как истину, страстно, через не могу.

5. Ужас театра жизни

Я был нервный ребенок. Такой нервный, что когда приходило время ехать в отпуск на Запад – накануне у меня прыгала температура в 39°.

Родители чернели лицами. Единственный терапевт был в гарнизонном госпитале. Ближайший педиатр – в районной больнице. Они рассматривали анализы и рентгеновские снимки, щупали желёзки и слушали легкие – и разводили руками. Неясный диагноз особенно тревожен... А дороги – неделя на поезде. Лайнеры еще не летали, авиация была относительная.

Лучшие доктора-практики на свете – это старые земские и армейские врачи, съевшие зубы и потерявшие волосы на всеобъемной низовой работе в глубинке, и не сделавшие карьеры по причине отсутствия амбиций и слабости к бабам и выпивке. Они плевали на трафареты.

В полку был такой вольнонаемный старичок, нюхнувший лазарету еще чуть не в русско-японскую.

Он заглянул мне под веки, постукал прыгнувшие коленки и проследил, как розовеет на коже мраморный след от проведения ручкой зеркальца.

– Нервный какой у вас мальчонка, – сказал он с каким-то игривым одобрением. – Прямо артист. Переживает все, да? Балуете? Истерики бывают? Вообще не плачет? Ну, ты, конечно, герой, но вы это зря, нельзя же все внутри держать, лучше уж выпороть иногда, но пусть поорет. Что? Ничем не болен, езжайте спокойно, не будет у него утром никакой температуры. Боже мой, чему теперь учат, это обычный нервический припадок, впечатлительный мальчик переживает будущее путешествие. Вы что, Тургенева не читали, Толстого не читали?

В тот год отпуск отцу дали зимой, и мы поехали в родной Ленинград. Курьерский «Москва – Пекин», купейные билеты оплачиваются, настольные лампы под абажурами и пепельницы над диванами.

И вот любимого, первого и пока единственного внука ленинградская бабушка повела впервые в жизни в театр. Это был знаменитый театр марионеток Деммени, угол Садовой и Невского. Бабушка достала билеты во второй ряд середина и надела чернобурку и какой-то охрененный перстень. Она была жена профессора и полковника. Я был в матросочке и уже менее жиртрест – полным весом я их не опозорил.

Давали «Мальчик-с-пальчик». И чем-то эта хренотень вызвала у меня опасения с самого начала. Я сказочку-то помнил. Там людоед людей жрал в ночном лесу. Этот сюжет не показался мне развлекательным.

Я поделился опасениями с бабушкой, и она со странным легкомыслием успокоила, что все это куклы, маленькие, деревянные, и ничего страшного не будет.

Для начала в зале погас свет и стало темно. Мне сделалось не по себе.

Потом раздвинулся занавес – и ни фи́га там были не куклы!!! Там был здоровенный дядька и здоровенная тетка, и они сидели на старинной кухне, и освещение было мрачноватое, а разговаривали они какими-то натужными, напряженными, неестественными, чреватými неизвестно чем голосами. Они двигались и разговаривали так, эти два человека, как нормальные люди себя не ведут. В этом было что-то неестественное. Это вызывало непонимание и тревогу. Что-то в них было не так, ох не так!..

Я вцепился в бабушкину руку.

Тут появились очень симпатичные куклы на ниточках. Но голоса их тоже были... невеселые... необнадеживающие были голоса. Короче, веселья и радости эти голоса не сулили.

И свет-то был на сцене какой-то мрачный, угрожающий. А тут еще музыка зазвучала – ну просто страшно стало от этой музыки.

– А свет в зале зажгут? – прошептал я бабушке.

– Когда будет антракт.

– А скоро будет антракт? – надежда во мне как-то воспряла.

– Тебе разве не нравится?

– Нравится... – с упавшим сердцем ответил я.

Когда менялись картины, свет вообще гас, и это было вообще ужасно. Я пристроился к бабушке поплотнее. Я перед этим-то радовался, что пойду в театр! Я не мог подумать, что театр – это так... тоскливо и опасно: неинтересно и страшно, честно говоря, и не хочется нисколько, до конца бы досидеть.

Тут вспыхнул синим и серебряным ночной лес, и братья-марионетки пошли по нему, и шептались они тревожно, и ждали беды. Ну, и попали в какой-то замок, где их должны были сожрать. Я покрылся холодным потом. «Это же куклы», – успокоила бабушка.

И тут вошел настоящий людоед!!! Здоровенный волосатый бородатый зубастый мужик с огромным ножом за поясом на толстом брюхе!!! Страшный и жрущий детей!!!

Не помня себя, я заорал благим матом. Я зарыдал и усунулся бабушке в живот. (Много лет спустя мне стало казаться, что людоед слегка смутился.)

Бабушка проявила твердость в воспитании мужчины, непосредственно переходящую в идиотизм, садизм и нарушение общественного порядка. Вместо того, чтобы вынести меня из зала к чертовой матери, она стала зажимать мне рот, качать на коленях и убаюкивающе шипеть в ухо, что все кончится хорошо.

Я отлепил лицо от ее брошки с камеей и обернулся на сцену. Там Людоед занес нож над одним из братьев-марионеток.

Я издал вопль. По-моему, у Людоеда затряслись руки с ножом и едой. Рядом была очень доброго вида жена Людоеда, но она была тоже живая, большая и

настоящая, и я завопил еще раз. Да вы охренели!!! Людоеды!!! Что это!!!

Тут бабушке прокомментировали чернобурку, ум и внука, и она понесла меня вон, причем я регулярно открывал глаза посмотреть, на сцене ли еще семья людоедов, и вопил как резаный, как сверлящий свисток, как под ножом!

В фойе мне дали попить. Я не хотел пить. Я лязгал зубами по стеклу, давился и облился. Я был весь мокрый от пота.

Вокруг нас похаживал невысокий полноватый и смугловатый мужчина, лысеющий со лба, со смоляной странной маленькой бородкой-эспаньолкой, он скрещивал руки на груди коричневого пиджака, потирал ладонью щеку, склонял голову на бочок. Потом он подошел и заговорил с бабушкой. Потом со мной. Это был Евгений Деммени. Он был в театре. Он наблюдал нетипичную и нежелательную реакцию. Он знал детскую психологию и редко ошибался.

- А ты знаешь, чем кончится эта сказка? - спросил он.

Я кивнул, переставая всхлипывать. От него исходила очень добрая, неопасная властность.

- Значит, ты знаешь, что людоед никого не съест, и все останутся живы?

Я снова кивнул.

- И ты знаешь, что это театр? И это артисты, и они потом будут кланяться зрителям.

Я пожал плечами. Он улыбнулся, вздохнул и кивнул.

- Реакция верная, - сказал Деммени бабушке, - но уж очень сильная и непосредственная. При том, что мальчик развитой. Очень впечатлительный. Ну - наша смена, артистическая натура.

Он потрепал меня по голове и отошел. Бабушка поменялась местами на задний ряд. Я досидел, зажав уши и сжавшись за спинкой кресла.

Годы спустя я еще успел встретиться с великим кукольным режиссером Евгением Деммени. В марте 1968 Ленинград отмечал его семидесятилетие: среди поздравлявших был и я – студент ЛГУ от университетской театральной студии чтеца. Деммени был сед, брит, крючконос, печален и счастлив. Он помнил этот случай – единственный в его практике: дети не плакали на спектаклях гения!

– Вы были ребенок в совершенно дореволюционном стиле! – и он пошевелил пальцами, изображая кудряшки.

6. Мой первый бенефис

Тогда же, ленинградской зимой, меня как-то сдали на воскресенье соседке по огромной коммуналке. Взрослые отправились в гости к одной из семей огромного родственного клана, а соседка была интеллигентна, родительская ровесница и без личных перспектив. Она пообещала культурную программу, а погулять по городу с ребенком ей куда как хотелось...

За ручку она повела меня к Медному Всаднику и начала просвещение:

– Вот на этой лошади сидит...

– Это не лошадь, а конь, – наставительно прервал я.

Соседка склонила голову к плечу и посмотрела внимательно, насладившись милым юмором ситуации. Ей предстояло еще много наслаждений в этот день.

День был погожий, я не устал, мы догуляли до Марсова поля.

– Вот видишь, дядя с саблей в руке? – она указала на памятник Суворову.

– Это не сабля, а меч, – строго поправил я.

Она прыснула.

– Меч! – раздраженно настаивал я.

– Меч, меч, – успокоила просветительница.

Перейдя через мост и освидетельствовав Петропавловку, мы оказались у памятника «Стерегащему». Соседка тетя Мила прочитала литой текст.

– И вода, которая вливается потоком в это отверстие...

– Это не отверстие, а люк, – с усталостью и отвращением сказал я.

Вечером семья хохотала над ее рассказом. Описание следовало в восторженных тонах и юмористическом ключе. Я сидел скромный и гордый. Бабушка смотрела сурово: эта бабушка не одобряла детских вольностей и склонялась к «Домострою».

– Нет, вы понимаете: я ему рассказываю, а он тут же меня поправляет!

Я был тверд в своих знаниях. А число авторитетов сводилось к минимуму. Их было два: папа и мама. Прочие могли ошибаться. Потакать их невежеству было незачем. Мною двигало не столько стремление к самоутверждению, столько приверженность истине.

Впервые я спорил со взрослым культурным человеком. Какая-то поверхностная малообразованность, проявившаяся во взрослом культурном человеке, меня даже удивила и разочаровала.

И вот с тех пор это чувство не покидает меня уже никогда.

Интермедия

Что нам читали

Наша Таня громко плачет – все равно ее не брошу: оторвала мишке лапу. Культурное поколение – это дети, выросшие на одних и тех же книжках. Маршак, Барто, Михалков формировали сознание «от двух до пяти» и чуть старше в некий единый культурный макрокосм.

Сейчас вы можете ржать, и я могу ржать, и кони могут ржать, но тогда в племянниках у Дяди Степы ходила вся детвора – того уровня, где вообще читали книжки, поскольку нищих, бедных и малограмотных было ведь большинство... «Дядя Степа» таки да вчеканивался в детские мозги и повторялся с восторгом: он был четок и харизматичен.

Ушлый Михалков набил страну безразмерными тиражами. «Пьеса для чтения», тонкая такая книжка «Зайка-зазнайка» настигала ребенка, как детский вариант Медного Всадника. Зайчик там был куркуль и пытался эксплуатировать Лису в домашнем хозяйстве: «Воды наносишь, полы помоешь – сядешь, посидишь. Обед сготовишь, стол накроешь – сядешь, посидишь. Только и знай, что сиди себе весь день!» Этот социальный протест домашней прислуги я помню до сих пор.

Уже Чуковский был для нас не то чтобы сложноват... странноват?.. да тоже нет, но что-то в нем было эстетически чужеродное. А вот был он, братцы, человеком другой культуры, более сложной, изощренной, богатой и условной, с глубиной и иронией, – и мы это ощущали! Он не был своим! Его стихи не входили в твою душу органично и полностью – всегда оставалась перемычка между твоим сердцем и его словами. Вы поняли? Для детей – в них была литературность, уже во взросло-отрицательном значении этого слова. О! – он писал для детей, сам при этом играл ребенка – а все-таки сам при этом ребенком не становился: автор не растворялся в лирическом герое; между актером и его персонажем просвечивала дистанция.

О деле. О прозе. О книжках, которые помнились. Которые ложились в основание твоего языка и миропредставления.

Буратино прекрасен. Бессмертен. Поле чудес в стране дураков. Именем тарабарского короля – откройте! Пациент скорее жив, чем мертв. На этом деревце вырастет мно-ого курточек для папы Карло!

Каким восхитительным писателем был Николай Носов! Сколько же миллионов (или все-таки десятков миллионов?) детей взвизгивали от смеха, слушая

«Мишкину кашу»! «Ах, чтоб тебя! – сказал Мишка. – Куда ж ты все лезешь?»

А также страна была нашпигована «Томом Сойером». Твен высказался насчет Америки с дубинкой вора и корзинкой убийцы, или наоборот, и Кремль его рекомендовал нам. Перевод Чуковского был эталоном, понимать мы этого не могли, но ощущение-то проникало! Там была такая странная жизнь, что мы даже не задумывались. Почему «субботний отдых», если не работают только в воскресенье, как всем известно? Что значит «Давид и Голиаф», и чем они отличаются от двенадцати апостолов? Библия – все равно нечто архаичное, доисторическое, темное, неизвестное, чуждое. Как это – мальчишки могут носить шляпы?! Абсолютно инопланетная жизнь, но романтическая и познавательная, и герой достойный.

Ах да, и все читали итальянского коммуниста Джанни Родари – «Приключения Чипполино»: про классовую борьбу фруктов и овощей. Его же стихи про бедность хороших рабочих и так далее.

Слушайте. Приличные образцы. Сильная техника языка. Здоровый дух и оптимизм. Добро, победа, идеал, благородство. Ясные и категорические моральные критерии. Так еще и юмор.

Так еще и картинки были хорошие! Школа что надо. Фамилий Конашевичей и Добужинских мы не знали, но глаза-то видели. Да: романтизм с легкими элементами модернизма у стариков.

7. Мой первый выстрел

Летом отец впервые взял меня на стрельбище. В гарнизонном бытѐе это служило развлечением и поощрением.

Мы, человек пять «среднего и старшего дошкольного возраста», сидели на боковом склоне мелкой пологой балки позади огневого рубежа, и не наблюдали ничего слишком интересного. Все выглядело казенной процедурой – а воображалось-то раньше как!

От группы офицеров в полевой форме отделялись очередные трое. Сменяя прежних, они подходили к малозаметной линии, доставали из кобур пистолеты и вставляли боком к видневшимся впереди грубым мишеням типа силуэта человека по пояс. После чего по очереди докладывали:

- Офицер такой-то к стрельбе готов!

Левую руку они закладывали за спину, а правой стреляли после команды офицера сбоку:

- Огонь!

Стреляли они не по одному разу, а по несколько, и не залпом или по очереди, а кто как. Потом верхняя часть пистолета оставалась отодвинутой сильно назад, а вперед торчала тонкая белая трубочка. Тогда они докладывали:

- Офицер такой-то стрельбу закончил! - и руками приводили пистолет в нормальный вид. Свали в кобуры и уходили, сменяясь следующей тройкой.

Выстрелы не гремели, как в кино, а как-то невыразительно, нестрашно и негромко хлопали. Такой как бы круглый, гулкий, не очень слышный хлопок. После каждого выстрела рука с пистолетом слегка подпрыгивала кверху.

Мы сидели на солнцепеке, следили и томились. Тянулось все долго.

Но вот офицеры потянулись наверх, к машинам. Посреди поредевшей кучки обнаружился стол с бумажками и коробочками. И до нас как-то удивительно явственно донеслись обрывки фраз: «...патроны все равно остались... дадим, пусть пацаны постреляют...»

Психологическое состояние пацанов заслуживает внимания. Мы играли исключительно в войну. Мы стреляли из игрушечного или просто условного оружия. Идеалы солдата и героя мы впитали с молоком матери и гарнизонным воздухом. Мы гордились своими отцами и их войной. Мы не сомневались в себе и своих ценностях ни мига, никогда, других ценностей мы не знали и не представляли. И вот сейчас мы будем стрелять из настоящих пистолетов. Настоящими патронами. С настоящим грохотом. Из боевого оружия, которое

убивает врагов на самом деле.

В такие миги появляется приближающее объемное зрение и объемное чувство. Видишь и ощущаешь сразу, вокруг, многое, подробно. Включается интуиция, замедляется время, сами собой просчитываются наперед в варианты мельчайшие намечающиеся движения и жесты.

Мы восприняли слова и намерения офицеров, наших отцов, нежеланным и дурным сном. Нам захотелось, чтобы все это нам только почудилось. Или чтоб на худой конец патронов оказалось мало, и времени уже мало, и необходимо было срочно уезжать, а стрелять нам уже некогда. Это было бы самое лучшее. Потом можно было бы выказывать страшное сожаление, что не удалось пострелять из настоящего пистолета!

Вдруг оказалось, что стрелять – страшно! Очень страшно!

– Эй! Ребята! Идите сюда! – махнул рукой снизу один из офицеров. – Хотите пострелять из пистолетов? – Он нисколько не сомневался, что подарок офицерского собрания будет воспринят благодарной детворой с восторженным ревом.

Никуда ребята не пошли. Даже не шевельнулись. Мы отвели от него глаза и стали смотреть перед собой – как бы никого конкретно и лично это не касалось.

Один из отцов подошел ближе к склону под нами:

– Толик! Хочешь пострелять? Спускайся быстренько. Толик, глядя над его фуражкой, отрицательно покачал головой с тем отрешенно-деловитым выражением, как будто его тошнило, и аппетита скушать вкусное сейчас, как ни печально, не было.

Отцов задело за живое. У стола засмеялись. Пять больших встали внизу под пятью маленькими. Офицеры не могли поверить, что вырастили тайных пацифистов.

– Генка, пострелять хочешь?

Генка отвернулся. Он пошел в отказ уже не первым, и ему было легче.

Я сидел ни жив ни мертв. Я себя уже знал.

Сашка Писарчук был самый старший. Ему уже исполнилось семь. Осенью ему было идти в школу. Писарчук-майор не стал тратить время на переговоры. Он вскарабкался по склону и схватил сына за руку:

- Пойдем, стрелять научу.

У нас отлегло от сердца – жертва принесена! – но ох ненадолго. Сашка заорал благим матом, брызнул слезами и стал выдираться и оседать.

Внизу у стола вкусно захохотали: там уже пошел адреналин.

Оставался я. Я еще был пончик в длинных кудрях. Отец был, как бы это выразиться, не до конца убежден в превосходстве моих мужских доблестей над окружающими.

- Мишка – хочешь пострелять из пистолета? – весело и легко, без напора и понуждения, скинул он последнюю карту в этом избиении младенцев.

Я превратился в автомат. Я утвердительно кивнул. Я кивнул молча, но так глубоко и старательно, что сомнений оставаться не могло.

- Ну – иди сюда!

Я поднялся на деревянные нечувствительные ноги. Во взглядах пацанов читалось сложное чувство: удивленное уважение, ненависть к превосшедшему их, презрение к слабаку по жизни и благодарность к уходящему с гранатой под танк.

На деревянных ножках я подошел к отцу и стал ждать самого страшного.

- Встань боком. Левую руку назад... вот так. Правую вытяни, выше...

И он вложил мне в руку жуткий и сверх моих сил огромный вороненый ТТ. Ужас у меня как бы заморозился, а осталось только отстраненное рассуждение. О том, что из такого большого тяжелого пистолета стрелять я не смогу. Я не смогу даже удержать его направленным в цель. А когда потяну спуск, что уже за пределами всех эмоций, то и прицелиться будет невозможно, и от отдачи, если у них-то рука прыгает, у меня он точно вырвется и упадет.

Я исправно исполнял указания, перестав даже думать, что не смогу толком произвести выстрел.

Отец присел рядом на корточки и наложил свою руку на рукоять поверх моей. И все сразу стало спокойно, надежно, хорошо, абсолютно понятно и безопасно: и даже неинтересно, вот ведь подлая человеческая натура! Я никогда не замечал, какая у отца большая, сильная и надежная рука. (В этом нет ни грана метафоры, это все чистая правда и только!)

Большим пальцем он снял предохранитель, а указательным надавил спуск моим пальцем на крючке. Оглушило не громко, толкнуло не сильно.

– Вот видишь, восьмерка, – сказал отец. – А в десятку?

Отец брал призы на соревнованиях и был ворошиловским стрелком еще в школе, до войны; тогда я этого знать не мог. Умение стрелять, никогда не тренировавшись, я унаследовал от него.

Все это я, конечно, не про стрельбу. И не про офицерскую туповатость в качестве педагогов. И не про сыновнюю любовь. И не про детский героизм. Я – про узловые точки судьбы. Развилки на дороге характера.

Ремеслом, мастерством, профессией, можно овладеть. И ум могут развить многие. И способностями, развивающимися в талант, может быть одарено немало людей.

И все это – дерьмо, если в нужный момент ты не можешь совершить шаг, который сам полагаешь достойным и правильным. Даже если старшие товарищи, более значимые и статусные, уже отказались от подобного шага и тем создали прецедент и почти избавили тебя от публичного стыда в случае отказа.

Пусть все зарыдают и уйдут – на тебя смотрит Нечто Высшее глазами смеющихся офицеров, прошедших фронт.

Ребята – клянусь: очень страшно в пять лет стрелять из боевого пистолета, когда ты не несмышленишь, а отлично осведомлен о грозной мощи боевого оружия.

На тех же деревянных нечувствительных ногах я поднялся обратно и сел на свое место на краю склона. Я ничего не соображал, мало что замечал и абсолютно ничего не чувствовал. Никакой радости преодоления, победы и тому подобное.

Вечером дома отец похвастался маме моим поведением, мне было приятно, и только.

Я начисто забыл этот мелкий детский случай, и вспомнил – яркое манчжурское солнце, раскаленная степь, выстрелы, пороховая гарь и оружейная смазка, над балкой – «студебеккер», два «доджа 3/4» и «виллис» командира полка, сидишь на неровных твердых комках спекшейся земли, – вспомнил все через много-много лет. Чтобы не забыть уже никогда.

Всю жизнь – я слышу ясно приглашение к главному.

И когда сделано то, что надо было – я поднимаюсь на склон в выжженной степи, смотрю перед собой и ни хрена не чувствую. Ни счастья свершения, ни радости победы, ни восторга преодоления, ни облегчения оконченного труда – ну ни хрена, кроме опустошенности и тупой протрации.

Должна лечь стальная струна арматурным лыком в строку. Строченьки набегут, а вот чтоб сложились они в мелодию, звук и смысл которой достигнут Божьего слуха – струну надобно заплести в детстве, потом уже поздно.

8. Моя первая оценка

Отметки нам начали ставить на второй день в школе. Первое сентября, значит, для первоклассников был праздником без тяжелых последствий, а второго приступили к поощрению юных тружеников и градации интеллектов.

Учительница была гуманисткой. Очередная доктрина Министерства Образования призывала вспомнить дрессировку методом выработки положительных эмоций по теории дрессировщика Дурова, гиганта отечественной педагогики среди млекопитающих. Поэтому для начала она ставила только хорошие и отличные отметки, и только по такому необременительному для малышей предмету, как рисование.

Вообще я рисовал не хуже других. Позднее я просто несколько лет занимался в школьном кружке рисования (правда, в другом городе и другой школе). Отец рисовал как художник, его картины выставлялись в Ленинградском Дворце пионеров, и он собирался стать архитектором, если бы не война.

Короче – учительница всем ставила пятерки, а несколькими, кто своими цветными карандашами уж вовсе фигню какую-то накалякал, поставила четверки. В таком контексте четверка из «хорошо» по пятибалльной системе превращалась в «плохо» по системе двухбалльной. Именно так это воспринималось бездарными неудачниками. Приветливая улыбка этой скотской баллораздатчицы мало что меняла.

У меня упало сердце. Я не ожидал. Я оказался в худшей четверти класса. Я был опозорен, школьное бытие было для меня опоганено. Меня легко и незаметно определили во второй сорт.

Я приплелся домой расстроенный страшно. Я даже плохо воспринимал все окружающее. Случилась неожиданная, незаслуженная, непоправимая беда.

Родители, однако, меня утешили, успокоили, просветили и развеселили. И оценка хорошая, и случай нечаянный, и раз на раз не приходится, и конец делу венец, и все впереди, и перспективы открыты. Я ожил и собрался быстренько нарисовать в тетрадке строчку палочек, как задано, перед тем как идти во двор играть.

И тут-то меня вразумили прочно. Что даже если задано вообще написать одну палочку и всё. Надо сначала переодеться. И вымыть руки. И аккуратно

разложить на столе тетрадь, чернильницу и ручку. И сесть удобно. И чтоб было светло и ничего не мешало. И ни-ку-да не торопиться. И со всем вниманием и тщанием выполнить наилучшим образом то, что нужно. И все сложить. И тогда только быть свободным.

Что я и сделал. То есть: начал делать на весь срок всех дел.

А через три недели отца перевели в следующее место, и я пошел во вторую из многих школ в моей жизни, и в новом классе никто уже не знал, что моей первой отметкой была четверка.

...Через одиннадцать лет на другом конце Союза я кончил школу с золотой медалью первым учеником из двухсот тридцати человек выпуска: три одиннадцатых класса и четыре десятых, это был шестьдесят шестой год, реформа, двойной выпуск, переход на десять лет. И первым получал аттестат, и произносил речь от имени выпускников, и вся эта хренотень. Так для чего сначала надо было попортить мне настроение? Очевидно, есть люди, судьба которых – не пропустить своей мордой ни один ухаб на дороге к вершине.

Уже во взрослые годы я с наслаждением прочел в дневниках великого ученого и известного англomана академика Павлова: он, значит, русский студент, спросил у знакомого англичанина, что тот считает самым важным для достижения намеченной цели? И по кратком размышлении англичанин отвечал: наличие препятствий. Оу, но почему, сер? Потому что в этом случае мой рефлекс будет постоянно напряжен, и я достигну своей цели вернее и быстрее.

Едва ли не все что-то значащие дела моей жизни неизменно начинались с трудностей, осложнений, провалов и всевозможных неудач. Слово Парень Наверху полагал, что я вообще живу слишком круто к ветру. И для того, чтоб тяжелый камень летел далеко и со свистом, не фиг его кидать, а надо сначала покряхтеть, угрозоздить его в ложке катапульты и оттянуть рычаги и тросы на полную, чтобы потом отпустить стопор – а дальше насчет высокой траектории и сокрушительного попадания.

Только не забывай: ты натягиваешь тросы и выверяешь прицел – а несет твой камень к цели все-таки Господь, если удовлетворен качеством и количеством твоих действий. Одаряя испытаниями – Он закаляет сильного и выбраковывает слабого. И пр.

9. Моя первая книжка

Я мечтал хорошо драться, лазать через заборы, свистеть в два пальца и скатываться на ногах с высокой ледяной горки. Я мечтал ездить на двухколесном велосипеде (пока не покупают...) и снайперски стрелять из рогатки (найдут – репрессируют и обезоружат). Я мечтал получить в качестве верхней одежды и обуви кирзовые сапожки и черную телогрейку – высший шик наших пацанов. Короче, умение читать в приоритетную шкалу вообще не входило. Я и так был умнее, чем приличествовало мужчине моего возраста и положения.

Родители же мои полагали, что вундеркиндом быть вредно. Что чем сложнее организовано животное, тем дольше оно развивается. Что каждый возраст надо прожить полноценно и адекватно. А в жизни – руководствоваться тактикой бега на длинные дистанции.

Короче, читать я научился не раньше прочих приличных первоклассников. Сначала и мама мыла раму до блеска, и мasha ела кашу до тошноты, и рабы не мы, но неизвестно кто, и вот однажды в воскресенье утром я проснулся раньше родителей и, в поисках занятий, взял книжку со стула у кровати. Комната была одна, телевидения не было, крутить радио я был не приучен, шуметь и будить родителей было рано.

Книжка была новая, тонкая, красивая, яркая, краснозвездный конник вздымал шашку и пушка изрыгала огонь и дым. Название на обложке было довольно длинным. Первое слово читалось сразу: «Сказка», а дальше я стал неторопливо разбирать знакомые по отдельности буквы. И у меня получилось! – «...о Мальчише-Кибальчише, его великой Военной Тайне и непобедимой Красной Армии».

И впервые в жизни я стал сам читать. И это было потрясающе. И было там, ребята – что слова, что настроение, что картинки.

Господи. Как же хотелось быть отважным и побеждать врагов. И как входило в детский растущий организм вещество идеала, и после этого организм формировался и рос уже с использованием этого неистребимого в нем вещества

– а идеалом был образ героя, ценой своей жизни спасающего свободу и независимость Родины и ее трудового народа.

С возрастом мы научаемся формулировать, но чистота и сила детского восприятия, конечно, замутняются и слабеют. Приходят ирония, аллюзии, обыгрыш стиля. Аркадий Гайдар, стало быть.

Нам бы день простоять да ночь продержаться.

Дать ему бочку варенья и корзину печенья.

И все хорошо, да что-то нехорошо.

Я ходил под впечатлением этой книжки целый день и остался жить с этим впечатлением под коркой сознания на всю жизнь. С годами, более размышлениями и анализом эмоций нежели заимствованиями – овладев психоаналитическими техниками, я просто научился открывать люки в трюмы психики и доставать старую информацию, как достают скрытый и постоянно действующий механизм, чтоб лучше разобраться в общем действии всей машины в целом.

Вот я и говорю чего. В книгах Гайдара – здоровое духовное начало. Хорошая шкала ценностей – мужская, патриотическая, воинская, благородная. Умение верить и умение добиваться. Так вдобавок там очень все в порядке с языком. Этого дети заметить не могут – но это входит образующим элементом в их чувство языка, владение языком.

...Прошло тридцать лет, и рвал душу с экранов голос уже ушедшего Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в детстве читал!..»

10. Мое первое сочинение

Расписание уроков в начальной школе было внятным и не смущало разнообразием. Первый урок всегда арифметика, второй письмо, третий чтение, четвертый по мелочи – пение, рисован. и прочая физ-ра.

Ко второму классу я освоился. Я был примерный отличник и пел на ответах соловьем. Я сидел за первой партой перед столом, как отражение педагогических талантов учительницы.

Осень. Третий урок. Развитие воображения и речи. Рассказ по картине.

Картина висит на доске. Она напечатана на бумаге. Бумага на картоне, картон на веревочке, веревочка на гвоздике, гвоздик в раме доски. О, эти наглядные пособия!

Там колхозники собирали урожай. От урожая ломались края картины. Я твердо помню бахчевые и садовые культуры. Арбузы, дыни и яблоки с виноградом созрели одновременно. Половина заднего плана золотилась и колосилась обильной нивой, и там был красный комбайн. А левая задняя половина сбегала к морю и была занята огородами, и кроме помидор с огурцами там лежали мерзкие фиолетовые бурдюки, и с того урока я уже никогда не мог отличить кабачки от баклажанов. Тем более что в забайкальской степи мы видели те и другие исключительно в виде консервированной икры кабачково-баклажанной, абсолютно неразличимой по цвету, запаху, вкусу и цене. Но это так, мелочь.

Еще там были лица колхозников. Тела у колхозников тоже были, и на телах была одежда, но это не привлекало внимания. Видимо, художник обладал истинно хорошим вкусом и соблюдал святое правило: не должно быть заметно, во что ты одет, одежда должна проявлять и выигрышно оттенять твою человеческую суть.

Человеческой сутью колхозников было счастье труда. Они улыбались, алели румянцем и сверкали улыбками, как наглядная агитация Медсанупра в коридоре стоматолога. Вот эти улыбки, подсознательно ассоциировавшиеся с ожидающей тебя бормашиной, настораживали. Они ориентировали в том направлении, что искусство условно, и верить ему буквально – нельзя. Что это такая игра по своим правилам.

Заметьте, дети. В те времена фруктов на Манчжурке не было. Никаких. Никогда. Нисколько. Вообще. Не росли они там! А привозить – госснабу на хрен было не надо. Грушу и виноград мы знали по картинам. От цинги мама кормила меня ломтиками сырой картошки.

Та учительница меня любила. Я ее ничем не изводил и всегда готовил уроки. И она вызвала меня не первым, чтоб другие тоже могли развернуться и блеснуть чем могли. И не последним – чтоб, значит, следующие мотали на ус. Валентина Кузьминична была очень славная.

И когда очередь дошла до меня – я уже собрался с мыслями. Я учел каждый овощ и каждое деревце. Я уже чувствовал, что могу рассказывать об этой картине бесконечно.

Во-первых, я дал происходящему название. Я встал, приосанился и объявил свой номер:

– З-О-Л-О-Т-А-Я О-С-Е-Н-Ь!

Класс затих, почуяв высокое качество исполнения и, возможно, заматывание всего времени до звонка. Несколько некрасивеньких девочек-троечниц восхищенно ахнули и всплеснули руками. Из этого контингента позднее формируются фанатки: сознавая личную недостаточность, они стремятся утвердить себя через хоть какую причастность к выдающемуся.

Начал я с тех бесспорных замечаний, что наступила осень и в саду созрели вишни. Наступила пора урожая. И тут (заткнитесь с вашим Прустом! я его обожаю, но тогда и слышать не мог о подобном) – я вспомнил вдруг вкус груши «бэра», которой кормила меня когда-то бабушка на Украине. Желтой, мягкой, сочной, ароматной, продавливающейся под пальцами, тающей во рту, стекающей на подбородок... Как мне захотелось грушу! Я очень любил груши. И арбузы. Но здесь ничего не было... И неизвестно когда мы поедем в отпуск на Запад, и кто его знает, лето это будет или нет, и будут ли там груши. Нет, честное слово, я всегда был равнодушен к еде, но тут пробило.

И ох рассказал я им о вегетарианской пище! Ох расписал тяжесть арбузов (никогда не поднимал), аромат персиков (никогда не пробовал и живьем не видел), сок вишен (кислое терпеть не мог) и рокот комбайнов (даже не представлял, как они выглядят реально, не на картинке). Так сказать, доминантный очаг возбуждения центральной нервной системы расползся со своего участка, активизировавшись, на соседние участки мозга. И я реконструировал по этому плакату систему колхозного хозяйства. Мужчина в кепке оказался бригадиром, а мужчина в галстукe – агрономом. Мужчина в

костюме и с орденом был председатель колхоза, а мужчина в тельняшке – само собой, демобилизованный моряк. Дети помогали родителям, ловкие мальчики собирали фрукты с вершин деревьев, женщины пели за работой звонкие песни, старый сторож охранял сады от хулиганов, и вот труды увенчались заслуженным успехом, а завтра будет праздник сбора урожая.

Класс был подавлен моим превосходством. Учительница смотрела на меня неотрывно и как-то необычно поводила головой.

– Садись, пять, – сказала она. – Вот, дети. Так у вас, конечно, не получится (она как-то странно всхлипнула и уткнула лицо в ладони). – Но надо стараться. Видите, сколько можно рассказать по картине? – Клянусь, что она икнула.

Я еще посмотрел на картину. Они мне там все стали как родные. Я мог сейчас придумать всю жизнь каждому из них, а потом придумать их не поместившихся в картину знакомых и родственников и тем тоже придумать жизни.

Э! Я мог их убить, оживить! Сделать шпионами и разоблачить! Переселить их к нам в Забайкалье – пусть-ка попробуют здесь свой сад развести, ха-ха!

– Веллер, выходи в коридор! – закричала дежурная по классу. – Уже перемена, а ты все сидишь, уже все вышли!

11. Мой первый кретинизм, он же первое горе от ума

В третьем классе у меня была уже третья учительница в третьей школе. Эта была похожа на милостивую чахнущую тургеневскую девушку-перестарок, и мушки у нее были соответствующие, и темные кудряшки на смуглых висках, и костный остов постепенно обнажался в личике, и под ласковостью была наготове истеричность. Когда я узнал о существовании тургеневских девушек, я их возненавидел.

Ее звали Тамара Федоровна, и она так отчаянно хотела быть сильно культурной, что аж комплексовала. И очень привечала хороших учеников как людей в зародыше культурных.

И вот на чтении она нам прочитала по книжке стихотворение Маршака. И выписала на доску сложные слова из него. И благосклонно и культурно стала объяснять:

– Так вот, дети, в этом стихотворении Сергей Яковлевич Маршак...

Я отчаянно поднял руку.

– Чего тебе?

Я встал и сказал:

– Маршака звали Самуил Яковлевич.

У меня не было при этом ни единой мысли. Ни задней, ни передней, ни средней, ни нижней. И чувств никаких не было. И слово «автопилот» я еще не знал. Ну все проще простого: она сказала неправильно, а надо говорить правильно, и я знал как, и я сказал. Все. Никаких покушений, издевок, подковырок, упаси бог.

Ну, и она поправилась, по-моему вполне спокойно:

– Простите, я, конечно, оговорилась. Спасибо, Миша. Садись. В этом стихотворении Семен Яковлевич Маршак...

Я опять потянул руку. Уверенно и совершенно спокойно. Ну регулировщик.

– У тебя вопрос? – приветливо спросила Тамара Федоровна.

Я встал и доложил:

– Маршака звали не Семен Яковлевич, а Самуил Яковлевич.

И сел.

Ну, она просто в первый раз не расслышала. Ну, понятно, она вообще не знает, как зовут Маршака. Она, конечно, сильно и сразу упала в моих глазах. Но я же

этого никак не показал! Она – неправильно, надо – правильно, ну и я – правильно. А чего. Да ничего.

Соображательная зона мозга у меня оказалась словно под наркозом. Я не понимал, что я делаю. Ничего не делаю. Просто говорю что есть.

Кто-то в классе все-таки хрюкнул. Но смысла хрюканья я не понял. Я не понимал, что над происшедшим можно смеяться.

Тамара Федоровна все-таки покраснела. И посмотрела на меня с ненавистью. Но смысла покраснения я не понял. И смысла взгляда тоже не понял.

Я был умный образованный мальчик, вежливый и воспитанный. И я был полный идиот даже для своего возраста, и бестактный хам притом.

– Итак, дети, в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак... – с тяжелой злобой произнесла она. Она тоже сейчас плохо соображала, ее заклинило, и свернуть с начатой колеи она уже не могла.

Чтоб я помнил, чего там наконец в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак?.. С нас хватило и того, как его зовут.

Больше меня Тамара Федоровна не любила никогда. И не то чтобы придиралась, но из первых учеников я как-то выпал просто в рядовые первого ряда. Потрясающе другое: я никогда не придавал никакого значения этому ничтожному эпизоду! Я его тут же забыл! – ан помнил, значит...

С тех пор я регулярно ляпаю что думаю. Без коварного умысла и гордого героизма. На бритвенной грани наивности и идиотизма. Не понимая дубинной мощи неожиданной и неуместной правды. Да – я уважаю правду и она мне нравится. И я часто не успеваю въехать конкретно, что люди устроены просто по-разному. У меня вдруг просто анестезируется участок мозга, оценивающий восприятие моих слов окружающими.

И все-таки я никогда не мог понять толком, как может приличный человек болезненно реагировать на публичную поправку. Ну, любой может ошибиться, оговориться, не знать, выпендриться, делов-то куча... Я хорошо сейчас понимаю

– а вроде и все равно не постигаю душой! – как знание одного может ранить и унижать незнающего другого.

Это облегчает жизнь и берегает нервы. О большинстве своих врагов и недоброжелателей я даже не подозреваю.

Интермедия

Первый фильм

Во всех гарнизонных клубах сбоку сцены и экрана висел плакат – белым крупно по кумачу или зеленому: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В. И. Ленин». Разнюханная пото-ом концовка фразы вразумляла: «...поскольку оно одно достаточно доходчиво до малограмотного пролетариата и вовсе неграмотного крестьянства». Издатели Полных Собраний обсекли.

Под таким сокращенным девизом мы в клубах и смотрели все фильмы – исключительно по воскресеньям в десять утра: еженедельный детский киносеанс. А репертуар известный: от «Подвига разведчика» до «Кочубея» – военно-патриотическая тематика. Вплоть до вовсе старинных «Васек Трубачев и его товарищи» или вообще «Путевка в жизнь». Новьем вроде «Тайны двух океанов» баловали нечасто.

Ну, и показали нам однажды фильм с невразумительным названием «Последний дюйм». Правда, цветной. Ну, погасло, вспыхнуло, затарахтело, закрутилось. И – сразу.

И когда мы услышали срывающийся голос мальчика: «Что он делает?!», и увидели его светлые прищуренные глаза, и его отец ответил с размеренной тяжелой хрипотцой: «Это не каждому по плечу. Здесь все решает последний дюйм», а лицо отца было рубленным, суровым, и севший самолет скапотировал на пробеге и загорелся, и на фоне дыма санитары понесли носилки, и поплыли красные рваные титры, а музыка с пластинки в кофейне выплыла на поверхность звучания, и от этой мелодии холодела душа, – ох мы замолкли. И войны в кино не было, и людей мало, и не происходило ничего, а мы не дышали.

И когда заревел прибой, и грянула музыка во всю мощь, и загремел тяжелый бас, и поползло по береговому песку полотенце с тяжелым окровавленным телом – за тоненьким пацаном, делающим невозможное... ощущение передать невозможно. Это мороз по спине, и колкие иголки в груди и коленях, и спазм в горле, и слезы на глазах, и надежда, и мрачный восторг, и счастье. Слова «катарсис» мы знать не могли.

Не знаю, поймете ли вы – что значило: в Советском Союзе за железным занавесом, без телевидения и почти без радио, без любых реклам и в тоталитарной процеженной скудости, все советское и ничего чужого, импортного, капиталистического, непривычного, в этом разреженном пространстве – в кинозале – девятилетнему пацану впервые увидеть «Последний дюйм». Это было откровение, потрясение, суровая трагедия с достойным исходом, зубами вырванным у судьбы.

Эту песню пели мы все. Потом вышла пластинка, и мне ее купили. Музыка Вайнберга, слова Соболя. Бас – солист Киевской филармонии Михаил Рыба, и оркестр их же. Там начинали арфы (!), вступали контрабасы, а от соло рояля по верхам в проигрышах резонировали нервы.

Никогда у меня кумиров не было. Ни в чем. Вот только Дэви из «Последнего дюйма» был. Просто я не думал об этом такими словами. Он никогда не признавал своей слабости. Он никогда не признавал поражения. Ничто не могло поколебать его гордость. Он не искал утешений в своем одиночестве и ненавидел сочувствие. Он был мужественным, он был отчаянным, он был худеньким и миловидным, но находил в себе силы для чего угодно. Он был прекрасен. Он был идеал человека. Да: в те времена для нормального девятилетнего пацана Дэви из «Последнего дюйма» в исполнении московского школьника Славы Муратова, тогда на год-два постарше меня, был идеалом человека. И оставался таковым долго. И в том слое, в том этаже души, в котором человек пребывает вечно девятилетним пацаном, потому что ничто никогда не исчезает, – там этот идеал продолжает жить. И прибой греметь. И песня звучать. И самолет отрывается и дотягивает до полосы. И нет в этом ни грана фальши. Это не каждому по плечу, сынок. Здесь все решает последний дюйм.

12. Первый толчок зависти

В старинные года все жили ровненько, и выпендриваться могли только личными качествами. Силе и храбрости завидовать нельзя – ты свободен предъявить свое превосходство, раз хочешь и можешь. Если кого-то били за красивую дорогую вещь – это была не зависть, скорее классовая ненависть: мы не хотели быть как они, мы считали, что все достойные должны быть как мы.

Ну так тоже хрен. Комплекс «Я не могу быть как ты – так чтоб ты сдох» большую часть жизни был не непонятен – неизвестен.

В детстве я мечтал быть скульптором. Это устраивало всех – я тихо сидел у стола и лепил из пластилина. Я отлично разбирался в его сортах. Хороший пластилин не лип к рукам, был плотным, не оплывал от тепла и цвета имел сочные и чистые. Я лепил лошадей со всадниками и без, экипажи с людьми, кошек вместе с подоконниками, домики для жуков и кузнечиков и самолеты с сидящими внутри летчиками в шлемах и комбинезонах. Все это было очень маленьким, миниатюрным. Где ж мы на все пластилина наберемся. Да и места. Все как-то оказалось подстроеным под размер небольших таких игрушек. Масштаб где-то 1:120–1:150.

Однажды я вылепил испанский галеон длиной сантиметров в девять – с полным такелажем. Порты в бортах были открыты, и оттуда глядели орудия с дульными отверстиями.

Скульптуры восхищали родительских гостей и отправлялись на районные выставки умелых рук и самодеятельного искусства, где неизменно проминались толстыми грубыми неуклюжими пальцами устроителей и зрителей.

А потом искусство оказалось подмятым милитаристской средой. Я вылепил танк, и истребитель, и бронетранспортер, и везде сидели экипажи, и у экипажей были автоматы со стволами из отрезков медной жилки и знаки различия на погонах – а сами солдаты и офицеры были ростом в полтора сантиметра.

Мой танковый парк вырос до семнадцати единиц разных марок – от БТ-5 до ИС-3 и Т-54. Для достаточного количества зеленого пластилина я смешивал бесполезные желтый с синим. На БТРы шел уже коричневый, на самолеты – бледно-голубой из смеси синего с белым. Кабины самолетов были из желатиновых капсул для лекарств, разрезанных вдоль пополам лезвием. У меня была морская пехота и ВДВ в легких самоходках, и все было выверено по

фотографиям в журнале «Советский воин» и газете «Красная Звезда».

У меня была санитарная машина, и с нее снималась крыша, и внутри на подвесных носилках лежали раненые под одеялами.

И вся эта роскошь занимала две коробки из-под пластинок. Сантиметров, стало быть, тридцать на тридцать – укомплектованных плотно, борт к борту, только я своими маленькими пальцами мог их так составить и оттуда достать.

Комбинезоны синие. Танкошлемы черные с ребрами, и шины машин черные. Генерал в ЗиМе, полковник в газике. Пулеметная команда в додже 3/4. Алые звезды на башнях и плоскостях и лычки на сержантских погонах. Было чем любоваться. Крошечный и настоящий армейский мир.

Коробки стояли сверху на книгах, в полке стеллажа, отлично входя между верхним обрезом ряда томов и низом следующей полки. На уровне моих глаз и даже выше – чтоб случайно не спихнули. Потому что стеллаж стоял в углу, под сорок пять градусов к стенкам, и за ним было пустое пространство.

Ну так однажды всю мою пластилиновую технику и вывалили на пол – с высоты человеческого роста – в пыльный простенок на пол, на доски, за книжный шкаф, всмятку.

Нет, вы поймите. Стелется чистая газета. Кладется пластилин. Берется бритва, иголка, спички, тонкая медная проволочка, латунная гильза от ружья 12 калибра. Ножницы, старые мамины маникюрные – резать проволочку. Ковшик с холодной водой – мочить пальцы, если пластилин вдруг липнет, некачественный.

И все разминается в ровные тонкие пластинки, и в шарики, а из них в диски, и в колбаски, а из них в полоски, и все подрезается бритвой, и составляется, и слепляется, и швы заглаживаются спичкой, а иголкой режутся люки в башнях и дверцы в кабинах, а лычки и ребра шлемов катаются толщиной в нитку, и они не должны прилипать к пальцам или газете, а должны прилипнуть куда надо – красные лычки на зеленых, или черных, или голубых погонах. И люки должны открываться и закрываться, а танкисты должны торчать в них, чуть прилипающие от легчайшего нажатия пальца, а от такого же легчайшего нажатия они проскакивают в башню, и люки закрываются. И все было копией

настоящего. Вплоть до понтона, который мог вплавь везти на себе танк в тазу или в луже, или рисунка запасных траков на развале лобовой брони ИС-3.

Настоящая сказочная крошечная Армия.

И родительский гость, больше некому, смотря книги, по неловкости, и не заметив, видимо, свалил коробки за книги. За туда на пол на хрен.

Войдя в комнату и кинув случайный взгляд, я не заметил их на месте и немного забеспокоился. Я спросил маму с папой, не брали ли они мою технику показать гостям, но они не трогали! С тоскливым подозрением я опустил на четвереньки и заглянул под шкаф.

Они были там, за ним, на полу, в пыли, косо стоящие в тесноте, в темноте, и кое-что – по отдельности от коробок. Вывалилось в стороны.

Я зарыдал горькими слезами, не помня ничего. Копилось это у меня, кстати, года два. Других сокровищ у меня не было. Игрушки и вещи меня интересовали очень мало. Это было не какое-то дурацкое хобби (слова такого не знали), – в этом важном для себя занятии я не имел себе равных и полагал в нем всю свою будущую жизнь.

И вот какой-то лысый кретин с усиками, подполковник херов, пародия на Чарли Чаплина, гадина, еще книжки ему, видите ли, дайте полистать, хер ли ему там надо, суке, свалил между делом это все.

Пришедший вместе с ним в гости сын (в гости – это двор перейти), мой приятель на год старше, Марик Лапида, чуть не убил отца от ненависти за содеянное и сочувствия к моей трагедии.

– Идиот! – орал он чуть не со слезами на собственного отца (!!!), – ты что, не видел?! Ты что, не мог их хоть осторожно переставить, если книжки смотрел?!

Отец-Лапида испуганно и виновато пожимался и неуверенно повторял, что он, вроде, ничего не ронял... ей-богу... Ему было до жути неудобно, он не знал, куда деваться.

Из нижних полок вынули книжки. Я лично, никого не пустив, полез в пыльную полутьму. Я вынимал мое помятое изуродованное добро и плакал.

Мне очистили стол и застелили газетами. Все общество собралось кругом и следило со скорбной тишиной. Периферическим слухом я улавливал прошептанные офицерские замечания насчет эвакуации техники и личного состава после ядерного удара и корпусной ремонтной базы. Взрослые были бесчувственные сволочи, но от их замечаний делалось легче, юмор излучал какую-то сильнейшую витальность.

Повреждения оказались гораздо меньше ожидаемых и все вполне исправимы. Моя советская бронетехника была сработана на совесть, а пластилин в доме признавался только хороший, а не всякая дрянь. Коробки упали удачно, многое вообще почти не повредилось. Я хранил их до конца школы, а потом всю жизнь во всех переездах их хранили родители.

...Так это я к тому, что годы спустя в Ленинграде мы встретились с Мариком Лапидой.

– А помнишь, у тебя тогда коробки с техникой за шкаф упали? Так это я свалил, – вдруг признался он. И в улыбке было больше удовлетворения, чем раскаяния.

Я раскрыл рот. Помолчал. Понял. Но спросил:

– На фига?

– А так, – он пожал плечами. – Завидно стало. Я так не умел. А чего, думаю, пусть и у него не будет.

Мы помолчали.

– А свалил на отца, – сказал он.

– Ты извини, – сказал он.

– Я потом жалел, – сказал он.

Он был не первый такой из всех. Он был первым из открывшихся. И лучшим из них из всех. Потому что остальные не жалели. И я ему благодарен. Я впервые заглянул за книжный шкаф, в темный угол, в пыльную глубину, куда проваливается лучшее, что у тебя есть. И я это нашел, и достал, и поправил, и оно уцелело.

Люби тех, кто кусает локти: они делают тебя выше.

13. Моя первая правка

Я писал без ошибок. Я читал, читать я любил вдумчиво, с расстановкой, я все любил делать с расстановкой, – и язык, язык как мелодика, язык как система, язык как гармония медленно осаждался и устаканивался во мне. Учительницы вскоре привыкали, что я говорю книжкоподобным образом – сложноватым и гладковатым литературным стилем.

Я помню, как впервые задумался о несовершенстве и неправильности русской академической грамматики классе в третьем. То есть слов таких ученых я, естественно, не знал, а просто ощутил однозначно фальшивость и ошибочность в письменном воспроизведении разговорной речи. Какой-то пионерско-мальчишеский рассказ был напечатан в газете «Пионерская правда». Тогда ее выписывали всем детям в приличных семьях.

В рассказе том кто-то вступает в какой-то конфликт, делает что-то правильное и рискованное, и один из сочувствующих одобрительно и уважительно восклицает: «Вот это – да!» Ну так тире в данной фразе на хрен не нужно и свидетельствует лишь как об убогости мышления корректора, так и о полной умственной ограниченности ограмматившего подобную графику филолога.

Мы все так пацанами всё время говорили. И смысл ясен, и эмоции понятны, и вообще это уже устойчивая фразема, относительно которых допустимо говорить об индивидуальном аграмматизме. Но это, видимо, сложно. А проще всего так:

Изначальна устная, разговорная речь – она и есть вторая сигнальная система. Письменность – условный код, огрубленный материальный носитель живой речи.

Первейшее назначение письменности – адекватно передавать речь.

Интонация, пауза, акцент – смысловые элементы речи. Меняя их – мы меняем смысл речи, ее суть.

Правила письменности необходимы – особенно учитывая региональные и индивидуальные различия и особенности. Но правило вторично – отражает правильность. А не первично – не диктует правильность. Хотя для малограмотных – именно диктует! расширяя кругозоры неведомого им, давая кроки к карте terra incognita.

«Вот это да!» – произносится без знаков препинания, безо всякого тире. Это триединое восклицание. Оно выполняет функцию трехсложного междометия. «Вот это – да!» – типа «Вот это – нет!» или «Вот это – средне!» Попытка воткнуть внутрь выражения внутреннюю грамматическую связь – безграмотность.

Сравни. «Вот это – мост!» Хороший, одобряю, а может быть и другой, раньше был плохой. «Вот это мост!» – просто восклицается. Тире предполагает возможность и утверждения, и отрицания. «А вот это – не мост!»

«Вот это – да!» – свернутое «Вот это есть да!» «Это» – подлежащее, опущенное «есть» – сказуемое, «да» – дополнение, отвечающее на вопрос, каково есть подлежащее, «вот» – определение, уточняющее подлежащее: не просто «это», а именно «вот» «это». Получается нормальное предложение, которое с изъятием одного из двух главных членов предложения, сказуемого «есть», превращается в неполное предложение.

Допустимо и без тире трактовать это как неполное предложение. Но наличие либо отсутствие тире – меняет интонацию, и тем меняет смысл, и тем меняет нагрузку в тексте, и меняет мелодику, а смена мелодики – это чужой акцент в языке, искажение, фальшь, мы так не говорим.

Без филологии: никогда ни один пацан не говорил: «Вот это – да!» Это напоминает выученный интеллигенткой мат, произносимый с ошибкой. Это напоминает толстозадую травести в роли подростка с невыносимо фальшивым задором. Филологом-то я стал потом, а без ошибок писал всегда. За исключением редкой казуистики – я никогда не понимал, как можно читать книжки и писать с ошибками, так же как не понимал, как можно целиться с

упора без учета времени – и не попасть, элементарно совмещая цель с мушкой в центре прорези.

Итого, это был уже следующий класс, и следующая учительница, и звали ее «Полтонны» или «Бомбежка», потому что она была толстая. И как-то она ничего особенно не любила. Мы с ней отработывали номер по разные стороны учебного барьера.

И был диктант. И я получил четверку. И сильно удивлялся. Это было вообще странно, но самое странное, что это она мне исправила «матрас» на «матрац».

Я пожаловался на странность родителям, они переглянулись, в доме уже был словарь, шли реформы языка, узаконили двойное написание: и «с», и «ц». Они утешили, успокоили, развеселили и велели плюнуть.

Я и плюнул, но полагалось выполнить работу над ошибками, и я упрямо повторил «матрас» и придумал проверочные слова «матрасик» и «матрасовка». Да я только позавчера читал про матрасик для рысенка у Чарушина!

Обратно работу я получил без оценки: стояла просто галочка красными чернилами.

– Вера Николаевна, – спросил, – а у меня почему нет оценки?

Вера Николаевна кратко объяснила, что это не обязательно.

– Но у меня все правильно сделано? – настаивал я.

Вера Николаевна кратко пробурчала, что в общем.

– Так у меня в диктанте правильно? – вникал я.

Вера Николаевна отвечала, что там все указано.

– Но вы же мне исправили «матрас» на «матрац» и защитали ошибку!.. – пытался уразуметь я.

Класс въезжал в разговор и посылно держал мою сторону: учитель не прав – это святой праздник.

Бомбежка покраснела молодым румянцем и закричала, а кричала она визгливо, что диктант был на прошлом уроке, что в тетради все указано, что она не понимает, почему я недоволен своей четверкой, не всегда удается написать на пять, а сейчас я срываю урок, а уже время объяснять новый материал.

– Самоучка! – отчетливо проговорил Сережка Вологдин с камчатки. И тут же поплатился замечанием в дневник – результат моего эгоцентризма.

На следующий урок уязвленная Бомбежка притаранила словарь 37-го года. Там был «матрац» и не было «матраса». Она тихо сияла.

– Книга царя Гороха, – пробурчал Сережка Вологдин. – Еще бы дореволюционный принесла.

– Скорей бы домой – и на матрачик! – весело закричал озорник Серега Фомин.

– Вырасту – матроцом буду, – сказал длинный Кимка Минаков.

Третьегодник Доронин дисциплинированно поднял руку и стал раскладывать длинное тело из-за парты вверх, вертикально:

– Вера Николаевна, так как надо правильно говорить: раз и на матрас или...

И тут Бомбежка завопила.

Глава вторая

В начале пути

1. Мое первое стихотворение

В пятый класс я пошел в очередную школу. Гранитная громада с колоннами светилась над каналом Грибоедова, и дело было в Ленинграде. Отца откомандировали в академию, и семья наслаждалась цивилизацией.

Отец выбыл из Ленинграда в действующую армию в сорок втором году, и проносил погоны всю жизнь. Род его был отсюда, и род был крут. Он восходил еще к прадеду бабки: и был тот прапрапрадед николаевским солдатом из кантонистов с георгиевским крестиком за Крымскую кампанию. Выслужив двадцать пять лет полной, инвалид, то есть не калека, а уволенный по сроку и закону ветеран, получал право проживания в любой точке Империи, включая столицы. Переведенный за рост и риск в Петербургский гарнизон, дед здесь и осел. Женился с приданым и до девяноста четырех лет наводил страх на родню, покуривая трубочку и уча детишек грамоте, а всех прочих – порядку. Я кланялся его могиле на Преображенском кладбище.

В семье никем не восторгались и ничему не умилялись. Жизнь сурово рассматривалась как поле трудов и преодолений. Бабка вышла из бедной многодетной семьи и по достижении семнадцатилетия, окончив курсы сестер милосердия, в девятьсот пятнадцатом отправилась с полевым лазаретом на фронт Мировой войны. Дед вообще рано остался сиротой, учился в университете за казенный счет и неясным образом промотался по Гражданской, залетев до 1-й Конной. Никогда он о себе не рассказывал, вообще был кремень молчалив, но фотографии на стенах, дагеротипы-сепии, разжигали любопытство кавалерийско-пулеметной атрибутикой... Первый дедов орден Красного Знамени был без колодки, на подушечке и с винтом, а пара друзей-стариков на праздники, выпив-выпив-закусив, вспоминали легенды фантастические и с неясностями. В описываемые времена дед был уже профессором и заведовал кафедрой кишечнорастворимой хирургии.

Коммуналка была огромная, и бабка держала ее в кулаке и в страхе. «Я профессор кислых щей, – говорил дед, – живу в коммуналке». – «Шура, так похлопочи», – подталкивала бабка. «Пусть раньше сдохнут», – отвечал дед. В 50-е годы ленинградские профессора еще запросто жили в коммуналках.

Как в октябре солнышко-то в Ленинграде зашло до весны, как – реально – полярная-то зима началась, серые дожди со снегом и тьма утром и днем, так

тошно мне и стало. В Забайкалье-то солнце лупит!

Утром отец ехал в академию, дед в институт, мать на работу, и тетка с молодым мужем на работу, и домработница приходила бабкиного сурового характера, и брат мой трехлетний все простужался, а я делал уроки и ходил во вторую смену. Тошно мне было и неуютно. И хрен кто до вечера пошутит или одобрит.

А как выл ночью трамвай на Садовой! Как он завывал, и металлически ныл, и скрежетал, и выматывал душу. И каждые полчаса били часы: бам-м! И холодильник: тр-тр-тр-тр-р-р-р-р-р-р-р-р-тук-тук-пух. И кто-то в туалет по дубовому паркету: скрип-пип, скрип-пип, блямс: «Ч-черт...» – наделся подреберьем на угол дубового же буфета. И дядька с дивана миролюбиво: «Хр-хр-хью-ю... хр-хр-хью-ю...» И дед из другой комнаты в мимолетном ночном кошмаре: «Ай...яй!..яй!.. аа-аа-а-а-а!..» Бабушка: «Тщ-щ-щ!!!» И тут в коридоре – Бу-Бух! – дальнобойщик дядя Саша выпал из туалета и свалил вешалку. И мама – нервически: «О господи, когда же это кончится». А на столе звенит стакан в подстаканнике – вибрация от машин. Никаких условий ребенку для отдыха.

А в школе – пять пятых классов, и в нашем 5-Д – сорок восемь человек, аж список в журнале дорисован ниже напечатанных граф. И все бы неплохо. И пацаны не дерутся. И никто не обижает. И учителя не придираются. А что-то не то... Не тепло. Не душевно. И не в том дело, что поначалу в новой школе всегда тоскливо. А в том, что нет какого-то доброго, тесного такого, свойского, общего духа – свойственного маленьким провинциальным городишкам, станциям и гарнизонам. Там дерешься, скажем, со станционными или зареченскими – а все равно все свои, просто другая команда. И учителя какие-то свои. А здесь – все сильно не свои, отчуждение такое, будто воздух между людьми обладает резко усиленными изолирующими свойствами, и личный каркас прозрачного пространства вокруг настоящей жизни и интересов каждого.

И только повезло нам с классной. Русачку звали Надежда Александровна Кордобовская. Такая чуть крупноватая, чуть полноватая, чуть смугловатая, темноватая, еще вполне молодая, приличных средних лет на наш взгляд, и не просто потрясающе обаятельная, но – учитель милостью Божьей. Она обладала небывалым талантом, поставив честную единицу за диктант абсолютному оболтусу, при разборе оценок откомментировать это так, что он верил в свой сдвиг к лучшему, был убежден в ее любовном, дружеском к себе отношении и осознавал, что на этом пути скоро станет писать грамотно. Справедливость, любовь, помощь и вера в одном флаконе – это было что-то потрясающее. Да мы в

ней души не чаяли.

И форма, серо-сизая, с гимнастерками и фуражками, а'ля гимназическая. И гербарий в Юсуповском саду. И сборы пионерского отряда, где я был звеньевым. И цирк, где сидел в первом ряду и сразу после вспышки в огромном фотоаппарате Кио я получил извлеченный оттуда здоровенный свой портрет, уже наклеенный на паспарту с надписью «Цирк от Кио».

Это я складываю всё, чтоб сообразить, из какого именно сора вырастают стихи. Ни хрена не из сора. Да-да-да, и можете застрелиться: граниты, решетки, шпили и запах большой воды. Осенняя листва и петербургская архитектура.

Итак, на зимние каникулы нам было задано по русской литературе написать стихотворение о зиме. Это было смелое раздвигание горизонтов. Никто из нас отродясь не думал насчет возможности писать самому стихи.

Каникулы были длинные, и лишь в последний день, десятого января, я скатился с кухонных ступеней в коридор с чайником в обнимку. Он гремел, я орал, кипяток булькал.

Прибежали и заорали взрослые, и мне была оказана первая и последняя помощь: горячие штаны сняты, обваренная нога осушена ватой, обработана спиртом, и пусть подсыхает. Сидеть тихо. Все. Такова была медицина того момента во вполне медицинской семье.

Меня устроили в огромном дубовом дедовском кресле за огромным дубовым дедовским письменным столом. И спросили о развлечениях. И я подумал, что откладывать стихи уже не на когда.

Но каков момент: толчком к творчеству послужила физическая неполноценность!

Мне подали бумаги и чернил, то бишь тетрадь для черновиков, чернильницу-непроливашку и ручку с пером № 86, и я стал сочинять.

Получалось плохо. Никак. Я сделался уязвлен. Так что – я не могу? Пушкин и Лермонтов, – конечно, великие гении, но я ведь раньше просто не пробовал!..

Попробовал. Нет – никак не получалось!!!

Я сидел до ночи, но я его написал. Я помню рифмы первой строфы: морозы – березы, пурга – снега. С количеством строк в строфе был разноряд. Первая: абабссд. Вторая: аббсс. Третью не помню. Возможно, была и четвертая строфа. Добычи – дичи. Волк – промелькнет. Последние листы срывает.

Мне не удалось придать подходящему содержанию безупречную форму. Но четырехстопный ямб я выдержал! Эх, если б еще строк было везде по четыре...

Я аккуратно переписал на вырванный двойной лист, нарисовал сзади цветными карандашами рамочку, на левую страницу разворота приклеил неиспользованную родней новогоднюю открытку, и назавтра положил свое изделие в стопку на угол учительского стола.

Через день воспоследовал триумф! Мне не просто поставили пять – мое стихотворение оказалось лучшим в классе, на что я никак не рассчитывал. Я был о нем не слишком высокого мнения. Более того – оно оказалось лучшим на все пять пятых классов, получивших аналогичное задание! На все двести двадцать или сколько там человек! (Слушайте мистику чисел и совпадений: сорок шесть в среднем умножить на пять – получается те же двести тридцать человек, что и при выпуске семи классов совсем в другой школе много лет спустя!)

Мое стихотворение прочитали в других классах – вслух, перед доской!

Я поделился успехом дома. Но они там были так заняты все собственными делами и так привыкли к успехам своего клана, что не придали буквально никакого значения моему достижению, отреагировав на него как на нечто должное, правильное и в общем разумеющееся, хотя и похвальное. Все.

Стихи я писать не бросился. Не испытывал ни малейшего желания. Потребности не имел. Но. Но. В сознании появился новый пункт. Как твердый бугорок на месте пустоты ранее. Как узелок на веревке. Я мог писать стихи. Вот знал это о себе. Это было как серьезное расширение плацдарма жизнь.

Интермедия

Жизнь и книжки

И среди зимы мы вернулись на Дальний Восток, и это вам не стишки, проза жизни требовала к ответу и барьеру.

В новом классе дразнили и били за шикарное клетчатое пальто с котиковым воротником, построенное ленинградской бабушкой. Хоть бы на миг она задумалась, во что мне встанет в жизни ее дорогой подарочек! Меня били, пока однажды я, возвращаясь в темноте со второй смены, не выкинул его на помойку и не объявил дома украденным в раздевалке. Расследование назавтра уличило меня во лжи, но пальтишко уже тю-тю. Я был как исключение перетянут ремнем и в истерике требовал телогрейку и кирзовые сапоги, как все. И добился сапог и дешевого типового полупальто из магазина, и жить стало бы легче.

Стало бы, но дразнили и били за мешковатость и неуклюжесть на физкультуре. И я притащил с помойки кусок водопроводной трубы, и вбил в косяк два самых больших гвоздя, и сделал турник, и подтягивался и кувыркался. И заводил свой будильник на раньше всех и бегал по утрам вокруг территории. И из командировки в округ отец привез мне гантели. И в спортгородке научил прыгать через коня, что со стороны казалось сказочным полетом. И жизнь наладилась бы.

Наладилась бы, если бы я двум-трем в классе набил морду. А у меня не получалось. Я не мог попасть. А когда попадали в нос или ухо мне, я терялся и бывал бит. И я рискнул пожаловаться отцу на трудности жизни, и услышал спокойное: «Ну и дал бы ему». Я бы дал, да не давалось. Я накопил копеек и купил в культмаге брошюродку типа самодеятельного учебника бокса для сельских секций. И в зимних варежках стал отрабатывать позы и удары на углу шкафа, мало что понимая. И весной на стадиончике за школой после уроков дал Обуху. Ну, дал не дал, но пацаны решили, что дал я. И через неделю, повторив это с Петей и с Голобоком, поднялся в классном рейтинге на четвертое место снизу, а оно уже давало права гражданства.

Борьба за гражданство начиналась в тридцать пять минут седьмого. Маленький пластмассовый будильник «Слава» трещал под подушкой, слышимый только мне. Тоскливый тонкий стрекот вытаскивал меня из сна, как леска – тугую рыбку из темного сопротивления омота. Подавляя ноющий стон на переходе из

блаженного небытия в бодрствование, я заставлял себя встать. Зимой это происходило в темноте. Все еще спали.

Я натягивал уличную одежду и делал пробежку. Стесняться было некого – пусто: гарнизон вставал в семь. Со временем, когда я подсох и потянулся, а шаг сделался длинным и размашисто-легким, можно было уже не стесняться.

Вернувшись, я вешал нижнюю мокрую «пробежечную» рубашку на спинку своего стула до завтра и двадцать минут занимался гантелями. Тридцать отжиманий и сто приседаний удивительно быстро перестали быть проблемой. Крутить малые обороты верхом на перекладине очень просто, если один раз правильно покажут. А вот до десяти подтягиваний на турнике я добирался два года.

Если не зима, я набирал в тамбуре полведра воды из бочки и шлепал за сарай. Брать больше было совестно – воду привозили два раза в неделю, сорокаведерную бочку натаскивали из автоцистерны-водовозки на все хозяйственные нужды. Я опрокидывал на себя это суворовское ледяное ведро в укороченном варианте, ухал, растирался, выжимал трусы и в комнате вешал на проножку стула ниже рубашки.

В автовзводе я набрал свинцовых решеток из старого аккумулятора и расплавил свинец в консервной банке на плите. Форму сделал из сырого песка в посылочном ящике, и отлил себе кастет. Он слишком оттягивал карман, и я носил его в портфеле. «Миха с кастетом ходит!» Я дрался им только два раза с деревенскими – он играл роль оружия сдерживания.

Я был готов сравнить с пацанами мозоли и мускулы.

Какие стихи?! Я ушел в себя? Да меня в себя вбили! Я высовывался оттуда, только чтоб выругаться самым грязным матом. Таким был наш профессиональный сленг, язык чести. Я сплевывал струйкой и пускал колечками дым сигарет «Армейские», 4 копейки пачка.

Я научился разрывать пополам червяка и ловить рыбу. Попадать из рогатки зеленой противогазной резины за тридцать шагов в бутылку. Ездить на велосипеде без рук, закладывая виражи. Я стал человеком в директорском кабинете под его личным рыком и стуком костыля, когда на спор спрыгнул со второго этажа – они не знали, что в воскресенье в закрытом авиагородке мы с

пацанами спрыгнули с вышки для десантников, а это четыре с половиной метра, и нормально, считается, что сила удара равна приземлению с парашютом.

На 23 Февраля идиот-замполит решил номером программы озвучить школьные успехи детей военнослужащих. Не чаявший дурного, отец вернулся с торжественного багровый и поинтересовался дневником. Моя двойная бухгалтерия была в порядке, и он достал бумажку с перечнем баллов из кармана кителя. Я твердо помню две единицы по географии за демонстративное пренебрежение. Лучшей отметкой была четверка по поведению. С репутацией у меня было все в порядке. Дать мне могли только Федя, Муха и Беляйка, не считая второгодников. Я один владел верхней подачей в волейболе (вычитал в детской энциклопедии).

Я пообещал кончить год без троек, и меня пообещали не выпороть. Какие стихи?! Высокая поэзия пубертатного возраста! «Миха-псих» – это репутация.

Нет, но мы читали. Что мы читали? Боже, что мы читали!.. О! «Кукла госпожи Барк» и «Смерть под псевдонимом», «Атомная крепость» и «Капля крови». Подросток жует текст, не чувствуя вкуса слова. Интрига и характеры – вот что воспринимает подросток. Сюжет и главные коллизии, моральные оценки в их ситуативном проявлении. Запомните последнее определение!

В «Трех мушкетерах» нас, «культурную верхушку класса», читавшую книги, поражало что? Как могут друзья, рискуя жизнью друг для друга, иметь друг от друга секреты! Что ж это за дружба?..

В «Двадцать лет спустя» потрясало, что мадам де Шеврез могла провести ночь с Атосом, приняв его за провинциального священника, просто из озорства, для развлечения: презренная грязь разврата не соединялась для нас с благородством людей чести, французских дворян, подданных короля!

Жюль Верн, Александр Беляев, трилогия Георгия Мартынова «Звездоплаватели». Катаев – «Сын полка».

А ведь еще до этого были пгеинтегеснейшие книги-хрестоматии массовыми тиражами: «Книга для чтения в 1–2 классе» (красненькая), «Книга для чтения в 3–4 классе» (синенькая). Там были простые и патриотические рассказы, над которыми мы издевались по памяти много лет спустя. «Иван Тигров» – как

мальчик уничтожил немецкий танк методом подсыпания песка в дуло. И прочее. И бессмертное, памятное из «Батальона четверых»: «Огребай, руманешти, матросский подарок!»

И был блестящий капитан Блад – столь мужественный и изящный. Он ложился на душу. Через него проходил вечный, под копирку, узор верности и благородства, и ложился внутри тебя, как татуировка под кожей.

А еще был Джек Лондон, и приходил день, и ты впервые читал «Мексиканца». И не забывал уже никогда. И повторял себе потом всю жизнь, и повторял, и металл возникал в стержнях твоих костей, и злоба мешалась с уверенностью, переплавляясь в горькую мудрость, что сродни мертвой хватке поперек судьбы: «Риверу никто не поздравлял. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам; колени его дрожали, он всхлипывал в изнеможении. И вдруг он вспомнил: винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться».

В тринадцать лет я прочитал в этом свою судьбу. Значит, хотел. Значит, чувствовал. Иногда в этом возрасте – как сердцем в просвет грядущих времен и событий глянешь.

Они бесчестны все до одного, эти гринго. Даже лучшие из них.

2. Мой первый рассказ

А восьмой класс я кончал в Белоруссии. Отца перевели на Запад. В доме было паровое отопление. А в городе – фрукты на базаре, театр и библиотека, и ходили автобусы.

Школьные «хулиганы» были добрые и кроткие ребята. Даже свинчатки никто не носил.

Сдали экзамены, загорали на днепровском пляже и шлялись по улицам.

Первый в доме телевизор! – черно-белый малоэкранный по нынешним меркам «Темп». Убили Кеннеди! (чуть позже). Хрущев в США (чуть раньше). Фидель, Куба, Хемингуэй, герой Италии партизан Федор Полетаев: ветерок с мирового океана, заграничный мир и его обманчивый блеск. И уверения писателей (ах продажные шкуры!), что западная литература блестяща, но русская глубже, мудрее, душевнее.

И Александр Грин – время великой славы Александра Грина! И «Водители фрегатов» Николая Чуковского. Короче – интернационализм, но там плоховато, а родина – это хорошо. А особенно крепость зла – все-таки США. Зловещая аббревиатура. Поджигатели войны. Пузатые буржуи в полосатых штанах. Город желтого дьявола.

А меня никогда не покидает мысль, что ведь, вероятнее всего я все равно буду писателем. Ну, наверное. Пока можно не торопиться. Где-то там, впереди. Но направление примерно видно.

И в конце концов я угрожаю писать рассказ. Вот Бальзак, согласно серии ЖЗЛ, рано начал писать. Лондон в семнадцать лет уже напечатался и премию получил. Ну – пора, что ли? Попробуем? И скука, и дома никого, и настроение соответствующее, задумчивое.

День был яркий и солнечный. Аморфный замысел был заточен на драматичность. Чтоб было более литературно, более как настоящая повесть или рассказ, – ощущалось, что надо все действие организовать не здесь и не сейчас. Книга – это где-то, когда-то. (Позднее я написал о механизме этого стремления в эссе-анализе «Молодой писатель».)

Взял я обычную тетрадь в линейку, авторучку школьную недорогую, сел за стол свой ученический письменный, и стал сочинять первый в своей жизни рассказ. А что. Сочинения-то я всегда писал лучше всех.

И до возвращения родителей с работы я его написал. Пол-тетради примерно он у меня занял.

Дело было в Нью-Йорке. Возможно, на Бродвее или близ него. Но ущелья меж небоскребов где-то тут – это точно. Серые такие ущелья, дым от автомобилей, смог большого города. (Боже мой!!! Почему свой первый рассказ я написал о

неведомом мне, чуждом мне, по моему разумению, Нью-Йорке, который потом, через четверть века, мне аж снился, так я мечтал туда попасть из СССР?..)

Главный герой был итальянец. Я никогда не видел итальянцев. Я вообще никогда не видел иностранцев.

Это был старый итальянец. Он был седой, у него были грустные глаза, и он был бедный. Он работал чистильщиком обуви. (Джанни Родари. Брошюра «От чистильщика сапог до миллионера» из О. Генри. Бродячий персонаж мировой литературы: старик-неудачник в рассказах о подвигах и надеждах молодости.)

Итак, рассказчик чистит у него обувь, и чистильщик рассказывает, как был в молодости влюблен в Италии, но не было денег, и он поехал в Америку на заработки, и вот погоня за деньгами его сгубила, и надо было вернуться к невесте и жениться, а теперь уже поздно, у нее, наверное, внуки, а он зря погнался на злой чужбине за деньгами и карьерой, а теперь возвращаться уже и смысла нет. Возможно, кстати, что глаза у итальянца были голубые, как лазурное небо его родной Италии. В Нью-Йорке небо я воображал поганым, неюжным, хмурым – так рисовали на советских плакатах про злую Америку.

Вот такой был грустный рассказ с открытой концовкой. Я-то знал, кого я оставил на Дальнем Востоке, чтобы делать Большую Карьеру на Западе, здесь, в Белоруссии, а далее, наверное, в Ленинграде! Хотя от меня это нимало не зависело, географические перемещения семьи совершались волею Минобороны, а карьера сводилась к мыслям туманным, а на чувства мои смутные никто ничем не отвечал. Ерунда! Искусство – это эмоции и воображение! Художник – это донор, оживляющий созданного им гомункулуса кровью своего сердца!..

Гомункулус был маленьким и нежизнеспособным уродцем, да и крови я ему своей отцедил не так много, и бедняга сдох не родившись.

Этот рассказ я никому не давал читать и через какое-то время выкинул к черту. Бесспорно правильно: такие первые пометки надо вообще вычищать из дома и памяти. Но много позже – любопытно было бы взглянуть, конечно, что я там навалял.

И много позже, много позже, много позже – подумал я вот что. Если ты, еще абсолютно неумелый и в ноль неопытный, ставишь себе серьезную задачу – ты

обязательно проиграешь. Потому что играть еще не умеешь.

Если задача проста, банальна, требования к ней невысоки – ты можешь неплохо справиться с первого раза. Если вообще ты, вроде, по способностям и знаниям нормально чего-то стоишь, и темперамент есть, и кураж, – проигрыш означает, что ты много от себя хочешь. Что примитивная победа, нехитрый читабельный рассказ про Саню из параллельного класса, тебе – мал, неинтересен, малоценен, ниже твоих возможностей и притязаний.

Неудача не дурака – показатель высокого уровня притязаний. Показатель резерва роста и возможностей. Кругозор шире сегодняшнего арсенала.

Банальный, наивный, юный и самоуглубленный я возымел претензию написать серьезный, глубокий, психологический, любовный, социальный, трагический рассказ. Я автоматом претендовал на уровень знакомой мне классики. Акела не допрыгнул.

Безусловно, я не смог бы ответить тогда на вопрос, зачем вообще я это пишу и написал. Тем более раз никому не собирался показывать. Первая проба сил? Первая проба пера для себя? Послушание внутреннему голосу? А хрен его знает. Так, вообще. Надо же когда-нибудь начинать заниматься своим делом... Да хочется.

3. Моя первая публикация – раз

Я сидел за одной партой с Лешей Карповичем. Леша был самый высокий, красивый и обаятельный. При этом он правильно себя ставил, давал почувствовать железку в характере и был уважаем хулиганами. Я вообще тяготел к нордическому типу: все мои друзья были высокие светлоглазые блондины, и так вплоть до филфака университета, искаженный генофонд которого привел бы в ужас расовое ведомство Розенберга.

Умный начитанный Леша учился так себе в силу обаятельного разгильдяйства. Меня он счел достойным того, чтоб показать мне на уроке тетрадь со своими стихами.

Это были вполне стихи. Куда стиховее моих пятиклассных, давно позабытых за серьезными вещами.

Я был зацеплен. Я был уеден. Я как-то вспомнил о своей исключительности, как раз лишившись ее. Раньше стихи писали, кроме меня, только далекие во времени и пространстве настоящие поэты, книги которых я снимал дома с полок. Они были великие и знаменитые, мне было простительно писать хуже, а вернее: собираться в свое время начать писать не хуже их, можно лучше многих. И тут мой одноклассник и приятель тоже пишет стихи – хуже, чем я бы хотел, но лучше того, чего у меня вовсе нет.

Я спохватился и стал сочинять стихи.

Жизнь школьника, который учится хорошо и старательно, сколочена плотно и напряжена сильно. Жесткое расписание. Когда в свободные сорок минут я решал сочинить стихотворение, оказывалось, что время есть – а в голове ничего такого вольного нет, и ничего не придумывается.

Творчество не поддавалось рациональному планированию, и механизм готовности к нему был затруднен и неясен. Не писалось. А если писалось, то плохо. Какая-то фигня в рифму. Мне не нравилось.

Я написал про дружбу с Кубой, на митинг солидарности с которой я сбежал когда-то в Забайкалье с занятий и был позже аполитично наказан. Это годилось бы для стенгазеты, что было ниже уровня моего достоинства.

Я написал про пиратов, и это не годилось бы даже в стенгазету, хотя сошло б на подписи для комикса.

Я написал про войну, и это был единственный случай в моей жизни, когда я осквернил качеством исполнения великую трагедию народа.

Также я писал про природу, но не умел скрыть равнодушия к описываемому предмету. Поэзия была низведена к перечислительному ряду с употреблением прилагательных.

Мои стихи о любви не сумели войти в сокровищницу мировой лирики. Нет, я хотел, но они не сумели.

Я написал стихи про Маяковского, пришел с ними в ЛИТО областного педагогического института и ходил туда еще полтора года в статусе юного дарования с перспективой меж студентов с серым веществом. Я читал стихи на вечере поэзии института! Стихи были конструктивистские: рубленые, хромые, дерганные и неравновесные. Я гвоздил и печалился. Любительницы поэзии смотрели благосклонно.

– Ну-ка, заделаемся под крестьянского поэта Никитина, – говорил вполголоса Леша на уроке и начинал писать прямо в тетради для упражнений: «Утро взметнулось красным рыбьим хвостом...» И было в этом что-то верное, простое и настоящее. Так я воспринимал.

И подборку Лешиних стихов напечатала областная газета «Могилевская правда», сопроводив врезом о самом юном поэте области, и был школьный бум, и Леша в парадных брюках отнес заведомо культуры газеты А. Пысину, белорусскому поэту, букет цветов, и перед праздничным ужином дома отметил триумф с пацанами во дворе парой бутылок портвейна.

Черт возьми!

Я на отцовской трофейной машинке с переставленным русским шрифтом (у Лешиного отца, полковника, была точно такая же) перепечатал пяток своих стихотворений получше и понес Пысину. Пысину не понравились мои стихи, и я стал охранять тайну моего позора.

Я купил общую тетрадь, и принялся сочинять все свободное время. И тогда что-то начало возникать само собой. В неожиданные моменты. И я стал к черту откладывать тогда все занятия и писать пока пишется. Я много читал и думал про вдохновение. Читал глупости и думал ерунду.

Когда я, оставаясь один, иногда стал читать себе вполголоса собственные стихи и испытывать желаемое чувство оттого, что вновь погружался в тот же ритм слов, я как-то и подумал, что, вроде, на что-то ведь и похоже.

И тут кончается учебный год, и класс на автобусе едет на день в Минск: поощрительная экскурсия. И я беру номерок газеты «Знамя юности», республиканской молодежи, и время коллективного обеда использую в личных целях.

Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог проходной. Что надо у меня колотилось, где надо холодело. Прерывающимся голосом я спросил отдел культуры.

– Володя, к вам поэт пришел! – игриво запела заведующая вдоль коридора.

Я постучал. «Войдите!» Я вошел. Я поздоровался. Я закрыл за собой дверь.

– Что у вас? Стихи принесли? Давайте, – деловито, бодро и приветливо сказал некрупный и нестарый человек, не вставая из-за гигантского стола. Я впервые видел двухметровый редакторский стол.

Я достал из кармана сложенные пополам листики со стихами. Я чувствовал иронию приема, но понимал плохо. Я ничего еще не сказал про стихи – откуда они знают? Значит, таких как я здесь бывает много? Значит, я попал в поток начинающих поэтов, околачивающих пороги редакций, о чем раньше я лишь читал в книжках?

– Стихи в наше время опубликовать очень трудно, юноша, – говорил человек, редактор по поэзии, стало быть. – Поэтические подборки у нас даются не чаще раза в месяц. Очередь, как вы понимаете, груды рукописей, – он похлопал по штабелю папок на своем авианосце-столе.

– Вам лучше подготовить сборник и предложить издательству... – он журчал без перерыва, спохватился, предложил мне сесть.

– Я ваши стихи обязательно прочту, но заранее обнадеживать не стану. И не потому, что я предубежден. В газете мне самому напечататься трудно. Вот я окончил филологический факультет университета, я сам поэт, на подходе сборник в издательстве, и тем не менее...

Он принялся расхаживать по комнате, захламленной рукописями. Он был маленький, крепенький, кудлатенький, и при этом какой-то кривенький и подскакивающий. Подскакивая, он трепал меня по загривку и заговорщицки похохатывал. И долго говорил, сукин сын! Успел бы за это время прочитать мои шесть стихотворений двенадцать раз! (Потом я постоянно с этим сталкивался: болтать – сколько влезет, а прочесть тут же – никогда. Исключения два я знал.)

Он не позвонил мне ни на будущей неделе, ни позже. Я звонил в Минск. Со второго раза застал, с четвертого получил ответ, что все это обычное ученичество.

Все лето я следил за их поэтическими подборками. Газетные провинциальные стихи. Они заменялись моими легко, как запчасти.

.....

...Прошло тридцать пять лет. Стал другим мир и мы сами. И вот в городе Нью-Йорке у меня пара выступлений и читательских встреч. И где-то выпивка, и где-то интервью. И вот звонят, и говорят, что это «Интересная газета», и хочет взять интервью, и есть ли время. И мы забиваем время с семи до девяти вечера, и я еду к ним сам, потому что дальше у меня встреча в районе рядом. Это вопрос политесный: приглашать к себе незнамо кого – потом можно не избавиться, на кабак редактор мелкой эмигрантской газетки не тянет, а чем пить кофе в забегаловке – проще хлестать что хошь в редакции – по-нашему, по-советски, по-старинному.

Помещение было в Бруклине, на бесконечной Кони-Айленд, и за железной дверцей открывалась одна невеликая комната, истертая акулами пера. Две акулы мне как-то молниеносно, без паузы на знакомство, поведали в восторге главное редакционное событие: недавно они что-то напечатали про Елену Хангу, жившую на тот момент в Нью-Йорке, и на завтра после выхода номера в редакцию ворвалась разъяренная Ханга и ответственно орала на главного редактора Володю Левина, что это дерьмо он сожрет сам, что он не отдает себе отчета в положении вещей, что он – мелкое эмигрантское дерьмо даже без английского, а она – гражданка и афроамериканка, и нехрабрый Левин буквально залез под стол и там дрожал, прикидывая возможный ущерб. Рассказывали они это с удовольствием, из чего явствовало, что любовь коллектива не входит в число ценностей, которыми пользуется главный редактор.

Тут отворилась картонная дверь в выгородку вроде платяного шкафа или каюты командира на старой подлодке. И оттуда вышел главный редактор «Интересной газеты» господин Левин, провожая под локоток к выходу человека, судя по соотношению их поз чтимого в числе спонсоров или рекламодателей.

При их появлении две акулы, обе женского рода среднего возраста, испарились, и я остался стоять, глупо ожидая своей очереди на внимание. То есть закипать я начал сразу. Мало того, что я даю интервью безвестной швали, не считаясь с репутацией сам к ним еду, так еще и к назначенному времени он занят и я пять минут жду (хоть и интересно было), так еще выйдя он меня ставит на второй номер общения.

– Здравствуйте, господин Веллер! – оживленно оборачивается он, закрыв дверь за клиентом – Ну, давайте работать? – И, одной рукой показывая мне на ближайший стул у чьего-то стола, другой достает из воздуха диктофон.

Таких интервьюеров с такими приемами у нас когда-то в «Скороходовском рабочем» выгоняли пинком после первого дня испытательного срока. Отвожу я правую ногу назад и спрашиваю:

– Ну, чашку кофе-то поставите гостю, замотавшемуся за день?

Он чуть тормозится, идет к задней стенке и заглядывает в кофеварку, потом в пачку с кофе. То и другое дешевое, замызганное и пустое. Кофе он достал из чьего-то стола, чашечки нашел разовые (чего я терпеть не могу, кофе из пластика – как вино из майонезной банки).

– Садись, угощайся! – широким жестом и переходя на ты.

Я достаю курево и говорю злобно:

– Я кофе без сигареты не воспринимаю.

Он как-то крючится, ежится и ведет меня в свой отсек: он тоже курит, но только там. Стол у него размером с табурет, а табурет – размером с блюдце. Втискиваемся. Кофе бурда дикая, пепельница не мылась никогда, а он все вертится, немолодой живчик, и журчит, и тархтит, и почесывается:

– Так значит, ты живешь в Эстонии?

– Прозябаю, – мрачно говорю я.

– А учился в Ленинграде?

– Слушай, – говорю, – ну что это, на хрен, за разговор? Совсем вы тут обамериканились. Погодь две минуты. – И выхожу.

– Ты куда? – пугается он.

– Вернусь.

Куда-куда? Его миниредакция – дверь в дверь с крошечной винной лавкой, я обратил внимание при входе. Взял пару калифорнийского красного, сыру, крекеров, яблок – скромно так. И пачку салфеток.

Следующие пять минут мой редактор скакал по полу-погашенной студии-редакции, протыкая пробку всеми продолговатыми предметами, что нашлись. В конце концов он, такое впечатление, выгрыз ее зубами.

– Вот теперь давай на ты! – я был из двоих явно главнее; мы выпили по чашечке. Он сунул в клочковатую бородку сыр и проткнул его внутрь яблоком.

– Я посмотрел в Интернете – мы ведь с тобой земляки, – вкусно чавкал он. – Ты же в Белоруссии школу кончал? И я из Белоруссии. Из Минска. Мы с тобой вообще коллеги, оба филологи, русисты. Только ты вот прозу стал писать, а я стихи...

Мы выпили еще. Я думаю, вам все уже ясно.

– Я, брат, заведовал отделом культуры в республиканской газете, – говорил он. – Подборки там мои появлялись, в издательстве «Пярямога» сборник вышел у меня, в Союз Писателей принимать собирались...

И тонкий волосок электрического разряда прострелил мне в сознании между сейчас и памятью сквозь тридцать пять лет. И стало видно, как Володя (Левин) кудловат, и маловат, и коренат, и кривоват, и подскакивает, и подергивается, и почесывается, и норовит похлопать меня по плечу и потрепать по загривку (не владея своими привычками), и недержание речи несет его по волнам автобиографии, и на фиг ему, строго говоря, не интересны все мои дела, а интервью – просто работа, заработок.

– Ах ты, с-сука, – с душой сказал я. – Так ты все забыл? Не помнишь, да!.. Так это ты, Володя Левин, много лет назад плюнул в чистую душу юному дарованию?! Когда я, школьник, на подгибающихся ногах принес тебе свои первые стихи. Написанные чистой горячей кровью юного сердца!.. И смотрел, как щенок!.. И ты мне стал до-о-лго рассказывать о себе. А стихи послал на фиг – фигня ученическая, зачем вам литература, милый мальчик? Это ты был первым, кто хотел загубить неокрепший молодой талант!!! Не вышло, да? А хочешь сейчас в лоб – нет, ну честно, по совести, скажи сам – ты же заслужил получить сейчас, жизнь спустя, в лоб?

И я взял опустошенную бутылку за горлышко. И изобразил, что сжал до побеления пальцев. И сыграл мордой, что я опьянел, что я психоват, и вообще меж литераторами и эмигрантами дать в застолье по морде, хошь бутылкой – дело обычное.

Насчет обычного дела он знал твердо, Ханга его накануне хорошо размяла, и я имел низкопробное удовольствие несколько секунд наслаждаться и развлекаться глупым мышонком: я заслонял выход, а его лицо отражало сильнейшее желание спастись мирным способом и неверие в военную победу.

Потом я позволил себе расфокусировать твердость взгляда, убрать руку с бутылки и улыбкой разрядить ситуацию в добрую шутку. Он выдохнул, как проколотый волейбольный мяч.

– Какая смешная встреча за океаном, да? – сказал я.

– Теперь я припоминаю... – оживая, забормотал он, отыгрывая положение.

– Уймись. Ни хрена ты не припоминаешь.

– Знаешь, столько народу носило стихи, и столько графоманов.

– А то не понятно.

Он соврал, что потом переживал, – чтоб сделать приятное; и сам почувствовал, что перегнул. Я тоже что-то симметрично соврал.

Да – пепельница была вымыта мной. Но интервью взято им.

Оно появилось через неделю, интересное только редакционным врезом: Володя написал, что мы земляки, коллеги и старые друзья, и что он был самым первым в моей жизни, кому ныне (снабженный эпитетами) писатель принес на профессиональный суд свои первые произведения. Приговор того суда в газете оглашен не был. Зато была оглашена дружеская попойка с красным вином, сыром, ароматными хрустящими яблоками и бесчисленными сигаретами.

Через год «Интересная газета» вышла из бизнеса – так это называется.

Я подвез его, мы долго прощались на улице, темной и пустой, он подпрыгивал, похлопывал меня по плечу, был оживлен и говорлив, мы поцеловались. Я смотрел ему вслед, идущему к подъезду – маленькому, хромоту, седому, и у меня сердце сжималось и ком в горле не проглатывался. Не то чтобы ностальгия... нет. Как складывается жизнь... И как она проходит...

4. Второй шаг к первым рассказам

Тогда я еще не читал Акутагавы. «Мастерство – это путь длиною в сто ри, где первая половина составляет девяносто девять ри, а вторая – только один ри». Моряк вразвалочку сошел на берег. Не спеша и в расслабухе шлепал я первые, стало быть, из девяносто девяти шагов, о том не задумываясь и не подозревая. Меня вела некая договоренность между инстинктом, верхним чутьем и любовью к удовольствиям.

Мне выписывали журнал «Техника – молодежи». Интересный был журнал. Кроме техники и научных сенсаций присутствовал литературный раздел, обычно он

давал фантастику с продолжением, реже – научно-фантастические рассказы. И вот объявили конкурс на лучший рассказ.

Кстати. «Новый мир» уже напечатал шестнадцатилетнего поэта Алексея Зауриха – «самого молодого поэта в Советском Союзе». Я осознал, что самым молодым поэтом в Советском Союзе на уровне публикаций в «Новом мире» мне уже не стать. И мужественно сказал себе, что остается стать только самым лучшим. Иного варианта выделиться нет. Но поскольку, черт побери!!! – и иначе: черт побери... – и иначе: вот гадство!.. – возраст юного Есенина, или Лермонтова, или Рембо, уже прокатил, а вершин нет... короче, проза влекла меня больше.

Юношеские стихи есть знак литературы, потому что размер и рифма есть однозначная атрибутика. Прозу юношество определить литературой затрудняется: не имея возрастной дистанции и профессиональной высоты, не может сплошь и рядом различить крепкую прозу от бытословного описания каких-то событий.

Юношеские стихи есть признак тяги к литературе – это и так ясно. Юношеские стихи есть ощущение того, что литература должна отличаться от копирования жизни – художественным качеством; а вот что это за качество в прозе и с чем едят – еще решительно неясно; об этом вот как-то мало задумывались и типологический факт не анализировали.

Русский верлибр представлялся мне ерундой. Я их писал погонными метрами, ЛИТО пединститута объявило меня гением, и я познал угрызения шарлатана.

А вот написать такой рассказ, как «Мексиканец», или «Конец сказки», или «Под палубным тентом»; я знал северную новеллистику Лондона наизусть. Или «Четырнадцать футов» или «Корабли в Лиссе» Грина. Восхитителен был О. Генри и безудержно смешон Зощенко, но юность тяготеет к драме, воспринимая комедию ниже своего достоинства: мировоззрение юности мелодраматично, она готовится к решению главных дел жизни.

И вот «Техника – молодежи», и вот конкурс на лучший рассказ. Конкурс по картинке, картинка на вкладке. Далекая планета, черное небо, серо-серебристая равнина и скалы вдали, и два космонавта в скафандрах отшатываются от широкой красной полосы шириной с велосипедную дорожку, светящуюся на поверхности перед ними, а за полосой третья фигурка в скафандре лежит

ничком, и рядом эдакий маячок типа фонаря на палочке с антенной. Дети – придумайте сочинение по этой картинке. Мой жанр!!

По душевному складу все трое были ближайшими родственниками итальянца из давнего первого рассказа. Они носили абстрактно-англоподобные имена. Тот, что уже погиб, оставил на Земле любимую и полетел за славой и забвением. Когда его корабль потерпел крушение на далекой планете, его счастливый соперник также оставил их общую любимую и благородно полетел спасать. Третий выполнял функцию резонера. Он рассуждал о любви, лишениях и суете сует. Вот только на хрен им нужна красная линия, я никак не мог придумать.

Эта необъяснимая красная линия так меня раздражала, что стало раздражать и все остальное, и эти идиоты с их незадачливой любовью, и журнал с его кретинской картинкой, и так я этот рассказ и не закончил. Я был добросовестный юноша и еще не умел легкими газетными ходами обходить без анализа и мотивировки любые реалии. Через десять лет, молодым и циничным журналюгой, я бы им выдал по картинке любое количество материалов в любых жанрах и любого объема при соблюдении всех социальных установок.

Но вообще я твердо знал, что в жизни надо кем-то быть. Ну, меня проинформировали. В абстрактном зрелом будущем я хотел быть писателем. Или думал, что хочу быть писателем. Или, примеряя на вырост разные социальные роли, решил остановиться на этой.

Элемент решения и элемент влечения проявились в параллельные прямые, которые раньше или позже должны были пересечься, если не дергаться.

Я читал. И смотрел на окружающую действительность, пытаюсь определить в ней значимые элементы и сложить из них ажурную, настроенческую, мелодраматическую мозаику, которая и будет рассказом.

Там была ностальгия. Разлуки. Несовершенство мира. Горькое сочетание чистоты душ и пошлости жизни.

Там были одиночки-старички, благородные авантюристы в прошлом, памятью о чем и счастливы. Там жажда большой жизни боролась с тоской по любви и счастью, и карьерист достигал всего, теряя себя. Или делал большие дела, точимый горькой памятью, и конфликт никак не решался однозначно.

И там был ветер, и вечер, и листва, и огни, и рассвет, и закат, и рука в руке, и седые виски, и далекая перспектива, и юношеские планы, и прожитая жизнь. Юность вообще романтична. И не дай Бог, если нет.

Через энное время процесс во мне встал на автомат и уже не нуждался в волевом запуске. В неожиданные моменты я ловил в себе кружева отвлеченных настроений и вязь вымышленных событий.

Дети часто живут в вымышленном мире, и реальный мир раньше или позже извлекает их оттуда, как болтающуюся внутри бутылки пробку крючком. Я надел грузила и погрузился, научившись и привыкнув переходить с подводного ритма дыхания на надводный: жабры развились вдобавок к легким.

Короче. Когда мечтатель и фантазер. А таких всегда немало. Начинает свою склонность культивировать. С серьезными намерениями. Оформляя в данном случае под литературный канон. И ориентируясь на лучшие образцы. То если он будет продолжать. Может что-нибудь и выйти.

В семнадцать лет я полагал, что за два года, посвятив их только ученичеству писания, я могу стать писателем. Это был теоретический допуск, потому что таких двух лет никто в СССР иметь не мог. Я-то имел в виду – полностью, только, Мартин Иден. Но по закону полагалось или идти в армию, или учиться в институте, или работать – в разных последовательностях. Иначе – тунеядство уголовно наказывалось.

А жаль. Я шел по улице, ловил на щеку тополиную пушинку, и в минуту во мне возникал рассказ об озеленении солдатом гарнизона в далекой забайкальской степи, любви его к юной бурятке из стойбища, дисциплинарно наказанного романа и вечной разлуке в трясине дембеля и быта. Я раскачал фантазию, как акробат раскачивает растяжку суставов и мышц.

Я это все не записывал. Уже на уровне замысла мне это не представлялось шедеврами. А писать надо было шедевры. Только. Как никто.

5. Мой первый диспут

Наша классная в последней моей школе была большим подарком судьбы. Кира Михайловна Яцевич не то чтобы любила русскую литературу – она ею лучилась и брызгала, всеми страстями она жила в ней (то есть учительница – в литературе; хотя можно и наоборот...). Она давала самозабвенно и требовала ревностно. Она была в цвете – около тридцати пяти знойной смуглой женственности, и наша тупость иногда срывала ее в крик, хотя причины учительского невроза не всегда имеют причиной учеников...

В восьмом классе ее ироничное ко мне отношение вызывалось, по-моему, отличными офицерскими сапогами, в которых я прибыл с Востока: я смотрелся диковато, здесь сапог не носили. В одиннадцатом был, видимо, любимым учеником, хотя внешних проявлений она себе не позволяла.

В порядке внеклассной работы она грузила нас эстетикой как могла. Как все настоящие русские словесники, она была идеалисткой.

И вот она объявила на классный час диспут. И написала крупно и красиво мелом на доске: «О вкусах не спорят». И спросила, кто согласен. И почти все подняли руки. И тогда она с победным выражением поставила после фразы вопрос с восклицанием, так что получилось: «О вкусах не спорят?!» И спросила, а теперь кто с этим согласен. И класс смешался, и захмыкал, и оценил, и почти весь поднял руки – уже за новую редакцию текста. И был вопрос: ну, а теперь кто за первый вариант?..

Я почувствовал себя немножко в дураках вместе со всеми. Не так уж меня, как и всех, волновал диспут. Скорее задето было самолюбие. Да, я тоже слегка попал в ловушку. Но крепка ли ловушка? И так ли уж верно, что истина – во втором варианте? Гм. И я поднял руку – остаюсь при своих. И покосился по сторонам. Еще двое подняли.

И Кира сказала, что сейчас мы будем защищать свои точки зрения, и предоставила мне слово. А когда она после своего вопроса с восклицанием обернулась к обескураженному классу, лицо у нее было торжествующее. Она полностью добилась нужного эффекта. И было ясно, что она считает истиной второй вариант.

Иногда соображение идет с удивительной скоростью, а внешне твои действия выглядят легкими такими, небрежными.

– Есть вкус – и есть безвкусица, – сказал я, и по растерянным глазам Киры понял, что выиграл.

Дальше неинтересно – развертка тезиса. Если одному нравится Репин, а другому – коврики с лебедями, это вкус и безвкусица, и вкус надо прививать и развивать, а с безвкусицей бороться. А если одному нравится Репин, а другому – Ренуар, то это разные вкусы, два великих разных художника, можно одного любить, в второго нет, ну и о чем тут спорить? И тому подобное.

Кира стала выходить из ситуации, пританцовывая на фразгах, как боксер. Оживление было изображено на ее погасшем лице. Я поменял весь сценарий. Спора больше не было. Спорить не о чем.

Первую пару минут я был весьма доволен собой и даже горд: я умный, образованный и хорошо все понимаю, и даже доказал вам свою правоту. Через пять минут я понимал, что скотина, и лучше бы сидел и молчал. Боже мой. Она умнее, образованнее и лучше нас. И дает нам все, что может, какие там рамки программы. И вот она в неловком положении, и это я ее туда загнал. Ей же это унижительно! И я же ее люблю, я не хотел.

И все-таки еще долго, до конца студенческих лет, я спорил не для того, чтобы выяснить совместно истину, а только для того, чтобы победить. Пока не накушался пустословия.

Интермедия

Тогда мы читали.

В приличных домах стоял на полках однотомник Сент-Экзюпери в супере, и на вечерах повторяли: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». В Экзюпери мы полагали правильным искать и находить главное о смысле жизни. Это не только о «Маленьком принце», который остался; но и «Ночном полете», «Южном почтовом» и прочее. Таков был его статус. И портрет его в летной пилотке висел во многих домах.

Ремарка вся страна читала чуть раньше – на рубеже шестидесятых, но и к их середине жажда не схлынула. «Три товарища» были книгой книг. «Три товарища» научили меня любить немцев. «Ты прелесть, Робби. Ты ворует булочки и хлещешь ром». Какая жадность, какой расчет?! Таких книг о верности, дружбе и любви, когда отдают все с мужской скупостью в словах, мы не знали. Глубокое принятие «На Западном фронте» пришло позднее.

И был главный – Хемингуэй. Мужчина с большой буквы. Солдат, охотник, рыбак, боксер, борец с фашизмом. Мы глотали легенду и принимали к сердцу имидж – поколениям молодежи был потребен герой, мачо, писатель Честного Слова. Даже его самоубийство воспринималось актом героизма. Полковник Ричард Кантуэлл учил быть мужчиной. Старик Сантьяго учил не сдаваться никогда, Гарри Морган поведал, что человек один не может.

А главным из своих, ребята, был Аксенов. Он говорил, как мы, просто лучше. И думал, как мы, просто соображал чуть раньше. Так это воспринималось. Его книги ложились в сознание, как узор в подготовленную для него форму.

И щемила и повторялась нехитрая ностальгия Балтера – «До свиданья, мальчики». Эта повесть явилась актом – как стежком нити скрепившей поколения довоенное и нынешнее сквозь четверть века. Четыре лирических отступления в ней я помню наизусть и сейчас.

И был, черт возьми, Анатолий Гладилин, первый из поколения «городской», «иронической» и пр. прозы – это он в двадцать один год напечатал в катаевской «Юности» «Хронику времен Виктора Подгурского», с которой направление началось. И «Пыль в глаза»! И потрясшая нас уже в десятом классе «История одной компании»!

И уже написал «Голубое и зеленое» Юрий Казаков, и мы узнали, как мы любим...

И уже вышли «Попытка к бегству» и «Хищные вещи века» Стругацких. Мы еще не могли оценить блеска стиля и жесткой мудрости мысли. Но. Цепляло тем, что было интересно – и заставляло задуматься тем, что мир на самом деле не походил на розовую туфту, втюхиваемую нам за путь к благоденствию. Феномен сочетания легкочитаемости формы и предельной серьезности содержания.

Все перечисленные были – идеологи нашей эпохи. Не маразматиками из Политбюро КПСС, конкретно которым не верили даже мы с пионерлагерского возраста. Не официальные боссы советской литературы с премиями, орденами и собраниями сочинений. Этих вообще никто в грош не ставил. И не классики школьной программы. Их место было в идеологии их эпох и в рамках школьной программы и оставалось. А эти – ложились в душу и в мировоззрение, под их влиянием и с поправкой на них мы строили представления о жизни.

Стихи тоже были, но уже это вовсе для меньшинства. Однако в нормальной школе набиралось несколько человек такого меньшинства. Эдуарда Асадова Кира нам читать запрещала за пошлость; мы пожимали плечами и пошлости в верных и душевных словах не видели. В силу малой эстетической накачанности. (Орден и памятник Асадову! Это – первый шаг малоразвитого нормального человека в приобщение к поэзии, к идеалам морали в живой словесности!)

Евтушенко был явлением природы. Фактом действительности. Его знали даже те, кто вообще не читал. Его принято было порицать за лавирование перед властью. А стихи бывали ведь ну хороши же! (Сто лет помню: «Есть прямота – кривее кривоты, она внутри себя самой горбата...». И много еще.)

Был Блок! «И вечный бой!»

Был Маяковский! «Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек»!

Был Тихонов! «Гвозди бы делать из этих людей». Кто ж тогда не знал старика Тихонова. А сейчас «Балладу о динамите» помните?

И был Симонов. Константин. Вспомнили недавно, да? «Нет больше родины. Нет неба, нет земли. Нет хлеба, нет воды. Все взято!»

И знаете? это не было милитаризмом. Иначе. Юность романтична, юность жаждет изменить мир, юность пронизывает смысл своей жизни прежде всего в борьбе – за идеалы для всех и во имя всех.

Да это был камертон нашей жизни: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на

широкой площади убивали нас, но в крови горячечной поднимались мы, но глаза незрячие открывали мы, закаляйся, мужество, сталью и свинцом, укрепляй содружество ворона с бойцом!»! Это было время Багрицкого тоже.

Банальность – это когда давно известное оставляет тебя равнодушным. Когда давно известное заставляет сжиматься сердце – это называется истиной.

Нужны сильные стихи, чтобы затронуть, раскачать и заставить звучать в тон словам еще малоискушенную поэзией душу.

6. Мой первый вечер

Из какой фигни состоит обычно так называемая «творческая биография»! И настолько слабо соотносятся друг с другом внешние действия и внутренние переживания! Нет, кто-то удавится за звание или орден. Но счастье – категория не процедурная.

Пединститутский филфак с ЛИТО в ядре, так сказать, решили почтить меня вечером. Именным. Типа маузера Дзержинского. Руководство решило, что дозрел и сойду за «птицу» в графе культурной самодеятельности.

Я надел костюм и галстук. Я долго перебирал стихи. Волнение было сильным. Сами понимаете.

Это был актовый зал института, и он не был слишком большим. И не был полным, сильно не был. Но все же люди были. Не очень много. Мало. Не помню сколько.

В первом ряду сидели четверо девочек и двое мальчиков из нашего класса. Одна из девочек в очках и с цветами.

Я был наверху, на сцене, под лампами. Рядом за столом сидел доцент, завкафедрой русского языка и литературы, он же вел ЛИТО. Он меня кратко представил и сказал слова.

И я встал, и подошел к краю сцены, и стал читать. Все у меня одеревенело (надеюсь, дураки не заржали), и я читал, а сам боялся забыть слова. И смотрел в дальнюю стену.

И я впервые ощутил неведомое еще, тоскливое и подсасывающее безнадежностью чувство – отсутствие контакта с залом. Не было связей, тепла, любви, восторга, ожидания, да хоть снисхождения – вообще ничего не было. Я был в пустоте.

Мне жидко и вежливо похлопали, и девочка с цветами их мне вручила.

И я вообще ничего не чувствовал. Пустота и разочарование. Я же знал, что должны быть чувства: радость, усталость, удовлетворение, счастье признания, благодарность к слушателям, гордость своим достижениям. Все-таки мой вечер поэзии в институте, среди студентов! И ни хрена. Все на автопилоте, ноль эмоций.

Потом я пришел домой, отдал цветы маме и переоделся в домашнее.

Как не было ничего. Что читал, кому, зачем? Ну и что?

Ожидание ощущений не сбылось. Вот что вечно лишает происходящее смысла. Водка есть, а кайфа нет.

Ода к школьной радости

Школьные годы чудесные,
с дружбою, с книгою, с песнею —
как они быстро летят,
им не вернуться назад.
Разве они пролетят без следа?..

Не-ет: не забудет никто никогда шко-ольные го-оды! Значительное число самоубийств приходится именно на старший школьный возраст.

Звучание вопроса типа: «А как вы проводите свободное время?» – рождало во мне высокомерное отношение к прекраснодушному слабоумию.

Механическим сверчком сверлил будильник. Я брался за гантели и просыпался. И лез под ледяной душ, и в восемь утра сидел за партой. На свободное думанье оставалась четверть часа из школы до дома. В школе мотали нервы вопросами и оценками, а дома переодевался, обедал и шел или на дополнительные занятия, или на тренировку, или в вечернюю физмат-школу. С дополнительных возвращался при дурной голове, с тренировки нес в сумке мокрый трикотажный костюм, из физмат двигался с сознанием бессмысленной абстрактности бытия вообще.

И только после этого делались уроки, а было их обычно выше крыши. И все полностью, неукоснительно и аккуратно. Математика, физика, химия, биология, прочие ля-ля потом, когда голова уже отрубается.

– Уже половина одиннадцатого! Когда ты пойдешь спать!

Последние два класса я вставал первым в доме и ложился последним. Медаль мне была нужна для поступления и вообще, дополнительные – для медали, так было заведено, а секция самбо при Машиностроительном институте – чтоб быть человеком. Все было организовано по минутам.

И вдруг – щелк! Нет сил. Покончить с собой. Как хорошо. Отдых. Но: лучше хоть как-то жить? А лучше – хорошо? И вот: колесо каторги.

7. Последний экзамен и первый экзамен

Сочинитель сочинял,

а в углу мешок стоял.

Сочинитель не видал

спотыкнулся и упал.

Этот детский стишок я слышал от ленинградской бабушки.

Обычно мешок бывает пыльным и не ждет, пока ты об него споткнешься, а сам бьет тебя по голове.

Итак, я шел на золотую медаль. Причем номером первым. И не видал мешка в конце тоннеля.

Шел серьезный 1966 год. В предыдущем наша школа, неофициально первая и престижная в городе, выдала кучу медалистов. И все они провалились на вступительных в Минске, Ленинграде и Москве. Злорадно затрубили директора школ менее блескучих. Нашу директрису вызвали на бюро Облоно и продемонстрировали, чем отличается ректоскопия от выговора. Отличалось мало чем, и выражение лица вернувшейся директрисы заставило содрогнуться педагогический коллектив. И следующему выпуску, нам, повысили критерии отличных отметок за год до того уровня, что приходилось подпрыгивать, как дрессированной собачке до лакомства на палочке.

Не буду пересказывать всех каверз и подлостей этой полосы препятствий. Но. В том году одиннадцатилетнее обучение взад обратно менялось на десятилетнее. Везучие мы были последними, кто проучился год лишний. Десятиклассники выпускались вместе с нами, одиннадцатиклассниками. Три наших класса и четыре десятых. Двести тридцать рыл. И только двое набрали очков и баллов достаточно, чтоб в случае сдачи всех экзаменов на пятерки получить золото. Просто пятерок на экзаменах было для медали мало.

Медаль мне была нужна кровь из носу. Я хотел поступать на русскую филологию Ленинградского университета. Только туда и никуда больше. Вечерняя физико-математическая школа при пединституте и заочные подготовительные курсы в Электротехнический Бонч-Бруевича были окончены для успокоения родителей и отчасти из любопытства и для подстраховки: «филолог – не профессия для мужчины». Медалист мог сдавать только один вступительный экзамен – в моем случае сочинение. В сочинении я был уверен больше, чем в прочих своих возможностях. С пятеркой по сочинению и медалью я проходил в университет. В английском я был не убежден, а история – хрен их там знает.

На каждый экзамен я надевал ту же счастливую рубашку. И выстругивал из веточки акации свежую указку, украшая ручку узором. И перед выходом ставил себе увертюру к «Кориолану». И с последними бетховенскими аккордами шел на главное дело своей жизни. И нормально шел. И история с обществоведением, как вещи наименее серьезные, были для полупроформы поставлены последними. И этим мешком они меня свалили.

Я был уничтожен этими двумя четверками в одну кассу. Я знал историю. И обществоведение. И за все четыре четверти у меня стояли пятерки. И историчка была кротчайшая безвредная женщина. А сидевшая рядом с ней на этом экзамене директриса, тоже историчка по образованию, как-то легко и быстро сбила меня вроде и легкими, а вроде и непонятными какими-то, неожиданными вопросами. И кивала доброжелательно и сочувственно.

Я удалялся от школы скошенный и замороженный. Я двигался в колоколе пустоте звона. Я пахал последний класс, как папа карла. Серебряная медаль при двух четверках давала мне те же права и шансы, но сейчас при моем разгроме и полном и столь неожиданном поражении об этом вообще не думалось. Я проиграл – страшно, неожиданно, бесповоротно и, пожалуй, несправедливо. Я не мог понять, что она меня спрашивала? Я знал историю!

Два часа я гонял на велосипеде, развлекаясь тем, что не позволял обгоняющим машинам согнать меня с асфальтового полотна на обочину нервными гудками и матом, твякая в ответ, что по правилам мне полагается метр дороги, и могут вызывать ГАИ и платить штраф за нарушение. Через два часа я вернулся домой, и по телефону позвонила классная: «Ты хочешь пересдать историю с обществоведением? Тогда завтра к часу в 10-В, после них проверят твои знания еще раз».

Назавтра сидела та же директриса. Тяжелое крестьянское лицо, тяжелая крестьянская фигура: авторитарное руководство, суровая власть, безо всех этих штучек-дры-чек, – но не без справедливости, но не без доброты. И я тащил еще билет, и получал свои пятерки, и на вопрос, много ли готовился, отвечал со вздохом, что даже слишком много, наверное, и все улыбнулись в том смысле, что вчера я был простительно переучившись.

Много спустя я узнал, что классная устроила директрисе скандал. Она кричала, что я единственный, кто назвал ей даты Французской революции и жизни Петра I, что у меня за год не было в журнале ни одной четверки по истории, ну и можно

себе представить! Не полагалось пересдач на выпускных – никак, категорически! Но мне устроили.

Одиннадцать лет спустя, в мае, в своем небольшом домике в маленьком яблоневоm саду, Кира Михайловна, классная, намекнула мне, в чем было дело. И идиот вспомнил.

В этой школе мы в девятом классе ходили во вторую смену. А это неудобно, утром делать уроки, с двух до восьми школа, дома поел-переоделся – день кончен. А в десятый пошли в первую, ну, в свою очередность. А в октябре распространился в классе слух, что со второй четверти мы, точно и достоверно, пойдем во вторую смену. Народ заволновался в недовольстве. Роптал о справедливости. Учителя обычно не знают, сколь много несправедливостей терпят в школе ученики, и как это задевает и унижает душу.

Решили провести неформальное, как сказали бы сейчас, собрание класса, проголосовать, назначить протестные меры – и направить к директорисе выборных от класса. Пусть известят, что мы не хотим.

Мерой назначили забастовку – на занятия не выходим. С выборными застопорилось: никто не рвался. Я отличался повышенной раздражительностью с раннего возраста. Я сказал что пойду я, и могу один, если класс меня уполномочит. К моему изумлению, класс притих. В презрении я затянул бледно-бежевый короткий по тогдашней моде плащ, который носился только с поднятым воротником, и застегнул кнопки на очень хороших перчатках тонкой черной кожи (отец взял в Германии себе, но не лезли, а я дорос). Так я могу считать, что вы меня уполномочили, построил я вопрос так, чтоб молчание означало согласие. Неопределенное мычание было мне верительной грамотой.

Я постучал в директорский кабинет. Где никогда не был. И вошел с разрешения. И встал посреди. И сообщил ей, глядящей из-за стола с легким удивлением. Что уполномочен. Прошлый год во вторую смену. А в этом – несправедливо. И если переведут – класс устроит забастовку и на занятия не выйдет. А я только передаю решение класса.

Меня отпустили без лишних слов. Мы остались в первую смену. Вероятнее всего, слух был ложный, и никто нас переводить никуда не собирался. Кира мне потом сказала только, что в кабинете директора лучше все-таки снимать черные

кожаные перчатки и опускать поднятый воротник. Что она получила жесткий втык от директрисы, я узнал в том же яблоневом садике и в очень мягко-косвенной форме одиннадцать или двести лет спустя.

Для меня за полтора года прошло полжизни. Для директрисы возрастом за полтинник полтора года пролетели птицей-голубем городским помойным. И вот ее красавец теперь хочет получить из ее рук золотую медаль. Так где справедливость жизни, и не сука ли он наглая и удачливая? Ничего, пусть хоть чуть-чуть понюхает жизни-то, покорячится, а то уж больно певуч и разгонист.

Характерно, что я к экзаменам абсолютно забыл тот случай! И ни на миллиграмм не подозревал, что директриса меня топит умышленно! Да – я не сумел ответить... почему-то... И что-то такое чуялось... Но в объективности ее не сомневался нисколько!!! Просто вот такое невезение.

И я получил ее! Желтого металла из неизвестного сплава. И сидел на сцене в президиуме. И произносил речь от имени выпускников. И ни хрена не чувствовал. Утомили они меня этой эпопеей.

Тем более что главное было впереди. Вступительные

.....

В шестьдесят шестом поступали два школьных выпуска 1948–49 гг. рождения, дети послевоенного демографического взрыва. Нас было до черта, и конкурсы были ужасные. На русское отделение филфака ЛГУ – около двенадцати на место. А группа переводчиков английского отделения – вообще под тридцать, так что у нас еще ничего.

Для некоторых вступительные экзамены – это решение судьбы, всей будущей жизни, состоишься ты или нет. Быть или не быть.

Я презирал себя за волнение. Я говорил себе, что поступлю сейчас, или через год, после армии, переведясь с заочного, как угодно, когда-нибудь, любым путем.

Я жил у своей тетки в Дачном. Она с семьей была на даче. А Дачное было в городе: пешком, на метро и на троллейбусе – около часа до университета.

Я перелистывал книги по программе из ее библиотеки и свои пособия по грамматике. Ездил на консультации и собирался с духом.

Это был Ленинград! И это был Университет! Хотя другие абитуриенты выглядели не страшно. А все равно.

Было четыре потока, и сдача каждого экзамена шла четыре дня: наплыв! Мой поток был второй, и мне было жаль, что не первый. Первый – это первый, что-то есть.

И я приехал за четверть часа до десяти, как рекомендовали. И был спокоен. Сочинение было готово во мне. Оно уже существовало в виде бесформенной пластичной энергии, которая послушно и легко примет любые заданные ее параметры: тема не имеет значения, надо лишь оформить и сбросить набранный потенциал. Я даже подрагивал. Но одерживал себя и презирал за это подрагивание.

И я пошел с потоком в двери большой аудитории, и у меня не было с собой экзаменационного листа. Я отошел в сторону и обрыл карманы. Я забыл лист дома на столе. Езды в оба конца – два часа. Воздух почернел, и мир зашатался.

На дверях стояли, похоже, аспиранты, парень с девушкой. Мое лицо требовало скорой помощи, и меня утешили. Документы сданы? Приняты? Ничего страшного. Надо пойти в приемную комиссию, сказать про накладку, меня тут же перенесут в третий поток, а есть еще и четвертый, и приезжайте завтра спокойно сдавать, берегите нервы, ни пуха ни пера.

Назавтра я сидел пень пнем. Я перегорел на старте. У меня не было мыслей, не было вдохновения, не было подъема, а вместо желания был страх написать плохо. Я выдавливал сочинение, как Чехов из себя раба по капле.

И получил 4.

Тогда я не пил. И не курил. И не ходил по женщинам. И не имел денег. И у меня не было друзей или просто знакомых в Ленинграде. Поэтому я шагал вдоль набережных, и мысль утонуть в зеленой воде не казалась мне противоестественной.

Шансов пройти весь конкурс в борьбе с ленинградцами у меня было куда меньше, чем написать сочинение на 5.

И я пошел на устный литературу-язык. Экзаменаторам точно не было тридцати. С литературой было все в порядке, и я видел, как она, почти не закрывая от меня мой листок, рисует пять. А с русским устным меня заклинило. В те годы я его не знал никогда. Писал я без ошибок – чего вам еще? Я его игнорировал, тут же забывая выученный и прошедший урок. За три дня не выучишь. Она мне даже помогала, она меня не топила, она кряхтела на ухо подруге, и поставила мне три, общая четыре. И я понял, что пролетел мимо университета.

Тетка, приехав на день, напекла огромный таз коржиков. Сутки я читал учебник истории и ел коржики. Они кончились к петровским реформам 1721 года, и я лег спать перед экзаменом.

В коридор передо мной вывалился из двери несчастный, срезанный на группе «Освобождения труда». Я срочно прочитал «Группу освобождения труда» и нырнул в аудиторию. И вытащил эту группу!!!

И тут я включился. Я задышал. Наверное, глаза загорелись. И я задекламировал, что необходимость реформ назревала десятилетиями, что еще петровские реформы 1721 г. не могли удовлетворить общество! Меня слушала нестарая, опять же, тетка, она прерывала и направляла, а я пел издали, стремясь блеснуть всем, что имел, а главное – скрыть то, что она хотела узнать, но не знал я. Я говорил о Степняке-Кравчинском, попавшем в Лондоне под маневровый паровоз, и о Ротшильде, отсудившем у Николая I деньги Герцена. Когда я дошел до 1936 г., когда Эренбург прибыл на Теруэльский фронт и анархосиндикалисты под черно-красными знаменами встретили его криком: «Вива Мигель Бакунин!» – она поставила мне пятерку и выразила восхищение, попутно посожалев, что про освобождение труда мы так и не узнали, но явно знаем, несомненно.

На английском я не сумел толком перевести простенький текст. Советская школьная система обучения языкам умела готовить глухонемых! Экзаменаторша стала со мной разговаривать, и тут в рамках школьной, опять же, программы я бы тянул. И она пригласила напарницу. Вот та была – класс! И юбка, и стрижка, и сигарета, и бойцово-циничное выражение честного лица – это был стопроцентный филфак, кто понимает. «Ваш любимый писатель?» Был такой вопрос в перечне. «Хемингуэй». Это была тогда правда! Но Хем был в школьно-учебниковом перечне, и она скривилась. И спросила я что читал. И я перечислил все его книги – слава богу, я отлично знал и помнил оригиналы названий. И она приподняла бровь и спросила, не помню ли я, из каких частей состоит книга «В наше время»? И получила не части, а названия рассказов сборника. И приподняла другую бровь и спросила, читал ли я «По ком звонит колокол»? И я отвечал любовно, что Кастро сказал, что двадцать лет эта книга была для нас учебником гражданской войны, но я ее не читал, потому что в нашей стране она не переведена и не издана. И она сказала, что когда я поступлю, пусть я прочту ее по-английски. И резко поставила мне пятерку.

И я подвис со своими восемнадцатью баллами.

К дню подведения итогов большая часть отсеялась и рассеялась. Оставшихся собрали в актовом зале и объявили проходной бал 19. Не ожидая иного, я пошел забирать документы.

Там толкались, и я спустился к Неве. Пережду, куда теперь спешить. Я стал пытаться думать о том, куда пойду работать и проживу предстоящий год. Как буду готовиться к экзаменам, чтоб поступить наверняка. Не заберут ли раньше в армию. Если загребут, вернусь я сюда года через три. Мрачная огромность и горы пахоты.

– А что ты торопишься! – сказала свойская начальственная тетка, единственная из всех обращавшаяся на ты и к нам, и к девчонкам из комиссии. – Походи пару дней по утрам, потолкайся, послушай, еще ничего не кончено.

Когда девятнадцатибалльники разошлись, окруженный кучкой беспокойных замдекана сообщил, что послезавтра к двенадцати надо подойти на кафедру русского языка – возможно, останутся на русское отделение несколько мест для тех, у кого один-два балла меньше, хотя пока сказать трудно и обещаний никто не дает.

Я и назавтра подъехал – убедиться, что информация остается в силе.

А послезавтра положили наши дела – папочек тридцать – на стол и: полупроходные баллы восемнадцать и семнадцать, осталось шесть мест, конкурс сейчас пройдет так: вступительный балл плюс отметки по литературе и русскому в школьном аттестате плюс один балл за медаль, у кого есть.

В этом раскладе я получал двадцать девять из двадцати девяти возможных.

Я уже ничего не чувствовал. Ничего не мог. Ничего не хотел. Ничему не верил.

Я вышел на Университетскую набережную и через два часа спокойно пешком пришел в Дачное. Я не представлял, куда мне себя девать и чем заняться.

Глава третья

Наш универ

1. Загородка, компас, курс, калитка

Если бы в восемнадцать лет я жил в свободной стране, я бы никогда никуда не поступал. После школы я отправился бы в ближайший крупный морской порт – тот же Ленинград, или Архангельск, или Калининград, или Одессу, – и чуть раньше или позже нанялся бы на любой корабль матросом второго класса, и отправился бы вокруг шарика. Курсы и сдача экзамена на удостоверение – несколько недель, проформа, а можно и экстерном, я узнавал. А удостоверение шлюпочного старшины, на которое я сдал в местном речном клубе, на всякий случай у меня уже было.

Я хотел видеть мир! Я хотел работать всем! Я презирал туризм – благоустроенных зевак, глазеющих на чужую жизнь. Надо самому жить этой жизнью, чтоб она была твоей!

Я хотел быть настоящим железнодорожным бродягой, и монтажником-высотником, и портовым грузчиком, и вальщиком в тайге. Меня просто укачивало это желание.

И, заработав денег на два года жизни, я хотел осесть в своей каморке в городе Ленинграде. И только писать. Учиться, постигать и достигать. Преодолевать и добиваться. Я полагал, я чувствовал, что через два года плотной, упорной, сконцентрированной работы – я смогу писать. По-настоящему. И буду писать книги. И больше ничего не надо.

В суровой реальности план не катил. Альтернатива: армия – или институт. А «летунов» идеология жестко порицала: хороший человек должен был трудиться на одном месте.

Поступать в электротехнический, куда я окончил подготовительные курсы заочно? Или на физфак – я любил физику? И учиться? Чтоб раньше или позже, потеряв столько времени и труда зря, все равно писать? На филфаке хоть литературе учат.

2. Мы

Еще не было блатных и не было взяток (клянусь – ни об одном случае в университете тогда мы не слыхали). И не было ограничений в приеме для иногородних, и общагу давали почти всем. Прием был честным.

Каждый из нас был звездой в своей провинции. Медалистом, победителем олимпиад, эрудитом, примером. И вот мы собрались вместе. В нашей группе из двадцати трех человек медалистов было тринадцать.

Каждый обнаруживал, что он такой не один. И было с кем разговаривать по верху своего уровня: один был уровень, умственного превосходства не возникало. Одни были счастливы, другие (позднее выяснилось) травмированы этим обстоятельством.

Мы цитировали друг другу те же книги. Терзались теми же мыслями и задавали те же вопросы.

Поражало, что треть честно поступивших были серые мыши, плохо понимавшие, что они учат и отвечают. Проскок в экзаменационную лотерею. Артисты миманса. Фон.

Весь первый курс мы плавали в блаженстве. И только потом некоторые пришли в себя и потянулись выше. Высовывались. Происходило ориентирование в новом пространстве. Старый принцип выплыл из нового тумана: ты должен быть лучшим и первым. Только теперь придется гораздо выше. Восхитительное ощущение. Это уже не барахтанье в воде. Буквально физически чувствуешь, как молоко под лапками сбивается в плотную массу, и это уже настоящая опора для настоящего движения.

Как бы объяснить. Мы были уже на площадке, где велся гамбургский счет. Здесь собрались мозги из лучших со всего Союза. Это был – подготовительный класс, но – реальный масштаб.

3. Они

Наше поколение последним успело в захлопывающиеся двери праздника. Время еще отделило нам яств с пиршества русской филологии.

Мы узнали о существовании и масштабе Проппа, и одновременно узнали, что легендарный Пропп еще жив, и седенький гном с горящими глазами еще прочитал нам в первом семестре треть курса по русскому фольклору.

Историческую грамматику русского языка давала бабка Соколова, и когда грузная старуха с трудом поднималась на второй этаж, подтягиваясь о перила, и садилась там на площадке «филодрома» передохнуть среди курящих студентов, вокруг нее висела и просвечивала плотная аура репутации: «она была любовницей Есенина!» – и знала бабка Соколова об этой своей репутации, и довольство жизнью исходило из промытых морщин и ясных выцветших глазок.

И в курсе по древнерусской несколько лекций по «Слову о полку Игореве» приходил нам читать Дмитрий Сергеевич Лихачев. А русскую XVIII века читал Павел Наумович Берков, и половину лекций он отсутствовал, вылетая на спецкурсы в Германию, Францию и прочие Италии, бо на тот момент по своему предмету имел рейтинг номер раз в мире. (Да-да, я знаю аграмматизм своего оборота.)

А когда Григорий Наумович Бялый начинал свой спецкурс по Достоевскому, то через несколько лекций все переезжало из аудитории в Большой актовый зал филфака, и там собирался питерский бомонд, и первый ряд сиял звездами академических и театральных кругов.

А латынь давал Аристид Иванович Доватур, ученик и ученый Петроградской школы, заявлявший: «Я скажу «Кирка» вместо «Цирцея» в тот момент, когда вагоновожатая трамвая объявит: «Следующая остановка – кирк!»

И еще. И еще.

4. Стил

Блистательный Георгий Пантелеймонович Макогоненко, профессор и завкафедрой русской литературы, сидящий и грузнеющий светский лев лет пятидесяти трех-пяти, член Ученого совета Пушкинского дома и чего угодно, входит в «большую» двенадцатую аудиторию читать свою лекцию из курса первой половины XIX века. Еще не вошел – готовится!

Звонок прогремел оглушительно и бесконечно. Коридоры опустели, двери в аудитории закрылись. Со второго этажа спускается Макогон, останавливается за углом в коридоре и смотрит на часы. Выжидает.

Он в шикарном сером костюме. В шелковом, похоже, галстук. Всегда очень аккуратно подстрижен недлинно и причесан. Всегда благоухает дорогим одеколоном.

Он ставит портфель на пол и прикуривает сигарету с фильтром. Берет портфель в левую руку – и с сигаретой в правой стартует с места на третьей скорости! Дверь с треском распаивается, портфель по дуге летит за кафедру, Макогон врубает речь на ходу:

– Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, что когда Пушкин поселился во дворце графа Воронцова...

Аудитория в атаксе. Девушки повосторженнее пишут кипятком.

Однажды, опаздывая на лекцию, я из конца коридора наслаждался этим серийным спектаклем. Он играл!!! Ему было не все равно!!! Он был пижон!!! Он наслаждался своей работой в родном университете!!!

Рассказывали, как в блокаду он подобрал умирающую с голоду Ольгу Берггольц, выходил и пристроил работать на радио. Когда после войны он с ней развелся, она запила уже навсегда.

Однажды на экзамене старшекурсник крикнул в дверь аудитории: «Девки, Макогон любит юбки повыше». Макогон выгнал на пересдачу всех в мини-юбках.

После разноса его доклада в Пушдоме он мрачно занижил всей группе оценки на балл. А после удачного банкета – зависил группе (увы, уже другой, естественно) на балл.

Посещение лекций у нас, разумеется, было обязательное. Преподаватели ходили к Макогону, как главе курирующей русское отделение кафедры, с жалобой на разгильдяйство и пропуски. Макогон удивленно поднимал мохнатые брови: «Да? Странно... А у меня полная аудитория». Жалобщик отползал с ненавистью.

* * *

Словарный кабинет. Сессия. Вечер, зима. Пустовато, прохладно, отражения ламп в черных окнах, кожаные тисненные корешки за стеклом вдоль стен.

Индивидуальная пересдача экзамена – русская литература начала XX века. Тридцатилетний доцент Аскольд Муратов – красавец Робинзон Крузо с

ухоженной гриво-бородой. Две студентки – одна на сносях, того и гляди родит меж словарей. Она собирается отвечать первой, но Алик вежливо ее затыкает и долго занимается другой, спрашивая и мягко пытая, пока ставит четверку. Та уходит. Беременная слегка бледнеет от волнения и раскрывает рот. Алик останавливает жестом и спрашивает о самочувствии. Удивленный положительный ответ. Вообще о здоровье? А муж тоже студент? А живут где? С деньгами, конечно, трудно? Как же она рассчитывает сдать летнюю сессию? Или взять академический? А мальчика ждут или девочку? Когда собираетесь?

Подвигает к себе зачетку и рисует туда «отлично». Желает здоровья, до свидания.

Позднее я сообразил, что с пятеркой она могла тянуть на повышенную стипендию – плюс восемь с полтиной рублей.

* * *

Детдомовец студент Бохан в поисках десятки до стипендии. Все неимущи. Бохана надоумливают, и он идет к доброму бездетному Доватуру: «Аристид Иванович, вы не можете одолжить мне десять рублей? Я отдам со стипендии». Кафедра слушает и весело косится, Аристид ласково достает десятку из кошелочка.

Стипендия. Бохан входит на кафедру с бумажкой в протянутой руке. «Спасибо, возьмите ваши десять рублей», – кладет на стол рядом с Доватуром и выходит. Кафедра хохочет. В детдомах не учат изящному политесу.

В конце двадцатых Доватур отсидел пятерку как монархист. Эта справка его потом спасала: «Знать не знаю и не хочу ваших троцкистов, бухаринцев, или кого там, я не разбираюсь. Я – монархист, за это уже отсидел, вот справка!»

Маленький, лысый, улыбчивый, лукавый и умный как бес, он мог вдруг повернуться к студенту в коридоре и сказать: «Мальчик, возьми три рубля, потом отдашь, ведь нет сейчас, правда?» Одни умилялись, другие говорили о наведенном в заключении голубом цвете.

* * *

Обнаружив, что английский я никак не могу применить, мое подсознание пришло в ярость и отказалось его учить. Доцент с красивой фамилией Ирина Георгиевна Эбер («медведь» – англ.) дарила мне на английском «По ком звонит колокол» и «Ученические годы Хемингуэя». И я стал нагло ничего не делать!..

«Камрад Веллер! Вы можете сейчас вывести меня под автоматом во двор, поставить к стенке и расстрелять, но зачета вам я не поставлю. Я вас очень люблю, но оставляю вас без стипендии, а если вы не пересдадите мне осенью, я выгоню вас из университета и буду горько рыдать над вами! Идите вон, не рвите мне сердце».

5. Дух

– Коллеги, – с тонированной академичностью обращались к нам профессора. С самого первого курса...

Невозможно вообразить, чтобы преподаватель обратился к студенту на «ты», или повысил голос, или сказал что-то грубое. Исключение было одно, всеми принимаемое: если на экзамене оказывался полный балбес, экзаменатор мог попросить его открыть дверь аудитории и в эту дверь выбрасывал его зачетку вон в коридор. Это выражало, что незнание студента воспринимается как запредельное хамство.

В дверях седой профессор пропускал семнадцатилетнюю студентку вперед, и это было нормально.

Невозможно вообразить, чтоб даже старшекурсник обратился к преподавателю-аспиранту на пару лет старше себя не по имени-отчеству. Невозможно вообразить, чтобы в присутствии студентов, в официальной обстановке, сто лет как приятели профессора обращались друг к другу по имени и на «ты»: такое было только вне службы, вне публики.

Кастовость преподавательского гардероба соблюдалась не строго, и профессор мог подать-надеть пальто студентке в порядке нормы. (И ради бога, и примеряйте сюда сегодняшнюю пошлятину «свободного секса».)

В те воинствующе-атеистические года мы ушам своим здесь не верили: «Филолог, который не читал Библию – ну, это просто нонсенс». Да в родных городах за такое могли, ну, типа арестовать за антикоммунистическую пропаганду – по нашему мнению. А уж из комсомола – со свистом на позорное место.

С восемнадцати лет я не ходил ни на одну демонстрацию, ни на одно публичное собрание и шествие. Ленинград был, конечно, люлькой трех революций, но Гвардии Санкт-Петербургский Университет (в Ленинграде это звучало не то что сейчас!) эти мероприятия мягко игнорировал. Ректором был академик Александров, и его оборонная значимость охраняла его старую академическую демократичность. Желающие – пусть идут, а гнать – никогда! (Прочие вузы шли сквозь город полдня приказными колоннами!)

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/mihail-veller/odin-na-l-dine>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)